

Письма октября 1740

Письмо г. де-ла-Шетарди. Петербург, 25/14 октября 1740 года.

Последние три ночи были лучше. Царица спала довольно хорошо, и хотя с тех пор спокойствия стало менее от перемены, неизбежной у женщин известного возраста, и которая, соединившись с прочими ее болезнями, усилилась (*quoique la tranquillite soit moins grande depuis par un changement necessaire aux femmes a un certain age qui s'est joint a ces autres hicommodites et qui s'est confirme*), однако доктор португалец кажется не теряет надежды, которую он имел.

Обер-гофмаршал, как только я приехал третья-го дня во дворец, благодарил меня от имени царицы за внимание, оказанное мною к ее здоровью. Он предложил мне потом, за отсутствием принцесс, не хочу [112] ли развлечься картами с принцем брауншвейгским, который не замедлил мне предложить партию, на которую я и согласился. Эта принужденность, а также секретное приказание дамам являться точнее, нежели когда либо во дворец — суть следствие стараний разуверить в опасности, в которой была, или еще может быть царица.

Рискуя быть вынуждену к противоречию самому себе, я все таки считал обязанностью в то время, когда все покрыто тайною, сообщить вам то, что успел постепенно собрать вместе с замечаниями, сделанными при рассмотрении предметов вблизи. Таким образом регентство, как меня известили, составитя из принцессы Анны, у которой будет два голоса, из принца брауншвейгского, фельдмаршала Миниха и Трубецкого, кабинет-министров гр. Остермана, кн. Черкасского и Бестужева, адмирала Головина, гр. Головкина, кн. Куракина, Нарышкина и генерала Ушакова. Я никак не могу одобрить подобного распоряжения, так как предвижу все неудобства власти, разделенной между таким огромным числом лиц, вовсе не сдерживаемых старшим. Я вижу принца брауншвейгского вынужденным или следовать слепо желаниям принцессы Анны, или же потерять ее дружбу. Последнюю я предвижу старающеюся о преобладании в управлении государством, в качестве матери принца Ивана, каковое преобладание будет, конечно, оспариваться другими. Я предвижу союз, который возникнет из связей между кн. Куракиным, гр. Головиным и Бестужевым; между тем этому союзу воспротивятся кн. Черкасский, кн. Трубецкий, гр. Головкин и Нарышкин; для несомненной, но скрытной вражды между Минихом и Остерманом откроется свободное поле к постоянному противоборству. Старый генерал Ушаков один из партии не пропустит извлечь выгоды [113] из доверия, которым он, как говорят, пользуется в большинстве народа.

Впрочем этот совет, составленный из лиц, которые не имеют права уничтожить прав принцессы Елизаветы, может подать повод к смутам. Оне могут быть опасны, если посовещать принцессе, чтобы она вовремя возвысила голос и настоятельно требовала принять участие в правлении. С другой стороны — может ли совет представлять государя в случаях, когда будет нужно исполнять некоторые наружные обряды? Кто будет за него представителем, так как принц Иван, по своим летам не в состоянии даже машинально выполнять действия, требуемые от него короною, которую он будет носить?

Странно еще то, что дали сами повод к междуцарствию, которое тем более легко может иметь место, что принц Иван может скончаться, не имея брата. Еще страннее, что царица,

обольщенная мыслию возродить прекратившуюся фамилию Романовых в лице принца Ивана и, не будучи в состоянии достигнуть иначе, как при посредстве принцессы Анны — внуке по матери царя Ивана, впала в крайность, совершенно противоположную. Действительно в манифесте царицы сказано, что дети, рожденные от брака принцессы Анны с принцем брауншвейгским, имеют наследовать престол в случае смерти принца Ивана; но случай смерти принца брауншвейгского прежде, чем от него будут наследники, не оговорен, стало быть дети принцессы Анны от второго брака не будут иметь тех же прав, стало быть потомство не от нее, а от мужа ее призвано на русский престол (Здесь Шетарди разбирает манифест 5 октября 1741 года, в силу которого принц Иван назначен был наследником престола. По показанию Бирона, императрица Анна не хотела его объявлять прежде своей тяжкой болезнью, отзываясь, что “ежели де его объявить великим князем, то уже всяк будет больше за ним ходить, нежели за нею”. Что касается до помянутого манифеста, то его по восшествии на престол Елизаветы отбирали, и он до сих пор нигде не перепечатывался. Помещаю его в приложении под № I, как документ, не находимый ныне в частных руках).

Я имел случай убедиться, что было и есть намерение обратить принца брауншвейгского в греческую веру. Не понимаю причины тому: он только назначается в совет регентства. Пример гр. Миниха и Остермана, которые туда также назначены и также, как он, еретики, доказывает, что подобная причина не требует изменения религии, о которой идет дело.

При письме, переданном мне от шведского посланника к графу Тессину (de tessin) (Граф Тессин один из шведских государственных людей, всего более хлопотавших о начатии войны Швециею против России. В описываемое время он был посланником в Париже), я сообщаю распределение войск и их зимние стоянки, в подлинности которого меня уверяют; генералы по их занятиям в департаментах и коллегиях (здесь в обычае помещают их туда временно) также здесь означены.

К гр. Остерману приехал третьего дня курьер из Киева, и он передал мне вчера утром от г. де-Вильнева (de Willeneuve) (Маркиз Вильнев был французским посланником в Константинополе в посреднике между Россиею и Турциею при заключении мира в Белграде. Благодаря его проискам, Россия и Австрия заключили мир каждая отдельно, чего и желало более всего французское правительство. Остерман был сильно против французского посредничества (Ebauche pour doiner une idee de la forme du gouvernement russe, p. 101)) конверт, который был вручен тому нарочно для меня. Г. Вильнев передал мне копию с конвенции, учиненной при посредничестве — августа: она подтверждает размен, который последует при Буге между посланниками России и Порты. Он присовокупляет, что 30 [115] августа, когда писал ко мне, надеется также покончить статью о русских пленных и невольниках, не смотря на затруднения, тем более встречающиеся при том, что султан не может располагать этими пленниками иначе, как выкупив их на свои собственные деньги у частных лиц, их приобретших.

Письмо де ла Шетарди из Петербурга 29/18 октября 1740 года.

Как ни старались скрыть вновь принятого решения, однако слишком много лиц по необходимости принимали участие в этой тайне, чтобы могла она оставаться сохраненною,

почему и был я извещен о том, что происходило, довольно рано в четверг. Это решение было следствием печальной крайности, в которой находится царица с среды. Событие оправдало то, чего опасались, и это подает повод к отправлению курьера, которого я решился к вам послать вместе с моим отчетом его величеству, прилагаемом к настоящей депеши.

Я узнал в четверг, что герцог курляндский, в продолжении болезни царицы, собирал только для формы гр. Остермана и других министров, также русских вельмож. Фельдмаршал Миних и барон Менгден (Барон Карл Людвиг Менгден, тогдашний президент коммерц коллегии: о нем упомянуто в примечанш 14, стр. 92) одни пользовались его доверенностью, и он советовался только с ними, в уверенности бессомнения, что взаимная выгода иноземцев, подобных ему, требует, чтобы они берегли его и верно служили ему. Первый мало способен содействовать своими [116] советами в делах, требующих осторожности, но может поддерживать и помогать ему своим мужеством, которое его никогда не покидает. Второй совершенно разделяет мысли фельдмаршала. И тот, и другой, даже если бы виды и более благоразумные и здравые руководили их советами, побудили герцога курляндского решиться на шаг, столько же смелый, сколько и опасный.

В среду, он кинулся к ногам царицы, не скрывая вовсе опасности, в которой она находишь. Он напомнил ей о пожертвовании собою для нее, дал почувствовать, что оно распространится на все его семейство, если она не протянет ему руку помощи; что мало уверенный в своей судьбе, он не может обеспечить ее только продолжением к нему доверенности, которою он был всегда удостоиваем, и что это может сделаться единственно при назначении его регентом, распорядителем империи на время малолетства принца Ивана. Причины, которыми царица хотела сначала подкрепить отказ, были опровергнуты и уничтожены нежностью, которою умел он возбудить. Она согласилась на просьбу. Вследствие того, приказано было подписать бумагу, в которой сказано: что в случае, если провидению угодно будет прервать дни ее величества, области империя по воле императрицы должны перейти под регентство герцога курляндского. Эта бумага подписана в четверг утром синодом, кабинетом, сенатом, генералитетом и президентами коллегий 15.

В полдень, генерал прокурор прибыл в кабинет, куда были позваны все военные офицеры, низшие члены коллегий; по объявлении им намерения царицы и определения, принятого государственными чинами, все они подписали объясненную бумагу с тем слепым [117] повинованием, которое возбуждает здесь воля государя.

Меня уверили, что в тоже время учредили совет регентства, составленный исключительно из русских; но царица, чтобы не ограничивать милости, оказанной ею герцогу курляндскому, предоставила ему право и свободу созывать этот совет только тогда, когда ему будет угодно.

Третьего дня я был на короткое время во дворце, чтобы осведомиться о здоровьи царицы. На лице каждого была написана горечь, и, вследствие того, что должно ожидать всевозможных беспокойств и смятений, нельзя предвидеть, какие будут от того последствия в народе, привыкшем к неволе, к низкому, бесчестному раболепию перед тем, кто всего более ему делал зла.

При всем том русские умели заметить, что герцог курляндский унизил их государыню в глазах целой Европы и что он покрывает ее вечным стыдом, который она уносит с собою в могилу. Они не нечувствительны к несправедливостям, оказываемым принцессе Елизавете, и сами полагают, что если уже регентство должно быть управляемо иноземцем, то это

предпочтительно принадлежит принцу брауншвейгскому. Они наконец, рассуждают, что если нежный возраст принца Ивана подвергает их подобным злоключениям, то было бы гораздо проще и естественнее обратиться к юному герцогу голштинскому.

Унижение, в которое повергнули герцога брауншвейгского, не менее оскорбительно и для представителя императора, и для прусского посла. И тот, и другой сообщили мне вчера об их огорчении, и дружественное участие, которое я считал нужным выказать им, подействовало более, нежели когда бы я [118] стал возбуждать их недовольство, которое они желают внушить своим дворам.

Можно предполагать, не боясь ошибиться, что опасение или честолюбие были двумя двигателями действий герцога курляндского.

В первом случае, пугаемый заранее обращением, которое мог испытать тотчас, как только царицы не будет в живых, в страхе очутиться в Митаве в кругу надменного и предприимчивого дворянства, которое его ненавидит, а также страшась столько же удалиться в графство Вартенберг или в свое имение Биген (baillage de Biegen) близ Франкфурта на Одере, где он видел себя преданным вражде императора или прусского короля (В показаниях Бирона 23 и 24 ноября 1741 г. между прочим значится: “от чужих государей ничем не одарен, кроме римского цесаря, который ему в то время, как он графом объявлен, пожаловал 200,000 талеров, на которые деньги, прибавив из своих, купил в Шленской земле деревню, называемую Вартенберг; да прусский король дарил его, по приезде в Россию, Бигенским амтом...), герцог полагал решительным ударом отклонить все эти неудобства, подобно утопающему, который в минуту страшного отчаяния часто предпочитает помощи, которая может его спасти, средство, губящее его окончательно.

Во втором случае, привычка властвовать заставляла его смотреть легко на дело, помешала ему сложить с себя власть, которою он безгранично пользовался в продолжении 10 лет, и уверила его, что достаточно продолжать эту власть, чтоб удержать ее за собою. Быть может также — в столь странном случае позволительны все предположения — пораженный и прельщенный успехами Тохмас Кули-Хана, герцог курляндский надеется убедить сходством судьбы принца Ивана и молодого Софи, которого Тохмас Кули-Хан сначала возвел на престол, чтобы потом достигнуть [119] его самому, не прибегая к перевороту. и не лишая престола своего государя 16.

Напрасно я предполагал благоразумие в тех, с которыми советовались, чтобы постановили правила касательно двух принцесс и принца брауншвейгского, назначили ту, которая будет распоряжаться двором, и приняли меры на случай междуцарствия, столь возможного теперь. Обо всем этом не сделано никакого распоряжения, что и обращает более внимания на себя, и еще сильнее подтверждает подозрения, которые можно предполагать на счет герцога курляндского. Давая полный разгул своему честолюбию, он повидимому быстрее приближается к своей гибели: все не может существовать долго при помощи силы, а между тем насилие проявляется, как ни рассматривают все происходящее ныне.

Уже некоторые лица, чтобы возбудить внимание, или по другим причинам, припоминают склонность, сдерживаемую только ревностью царицы и которую герцог курляндский чувствовал к принцессе Елизавете. Отсюда выводят, что для него будет средством скорее овладеть престолом, когда он ее сделает участницею престола и женится на ней после смерти

своей жены, которая одержима расслаблением — обыкновенным последствием частых родов.

Еще более доказывается безрассудство всех мер, которым подвергают народ, чтобы проложить безопасную дорогу герцогу курляндскому, тем, что русские, которые только и мечтают о житье в Москве и считают себя как бы иностранцами в Петербурге, понимают очень хорошо необходимость, в которой находились и будут находиться они, жить в последнем городе из частных видов герцога курляндского. Они также знают по собственному опыту, что вместо одного властителя, у них было их пять в лице [120] герцога, герцогини и их трех детей, и знают потому, что терпели от их заносчивости, то, что ожидает их впоследствии. Они не обманываются на счет стеснения, которое разрушило даже самые невинные собрания; они предвидят, что это стеснение продолжится до тех пор, пока удержится политика герцога курляндского, которой два главные правила состоят во первых в том, чтобы мешать постоянно взаимным сношениям русских между собою и держать всегда в таком повиновении царицу, чтобы она не оставалась ни одной минуты или без него, или без герцогини; между тем как для большей предосторожности, молодой принц курляндский спал постоянно в комнате царицы. Но если такое стечение обстоятельств характеризует достаточно, как этот народ в настоящую минуту управляется безрассудством, которое кажется основало здесь свое владычество, нисколько не печалась о том, то крайности, до которых оно уже доходит, могут повергнуть эту страну в ее первоначальное состояние невежества.

Настоящая минута может быть благоприятна для шведов — они уверены в недовольстве дворов венского и берлинского. Последний их трактат с Портою, и способ, при помощи которого герцог преимущественно займется утверждением своей власти, заставляют предполагать, что он весьма мало будет в состоянии заниматься внешними делами. В начале будет еще удачнее, когда какая нибудь партия, как ни была бы слаба она, призовет к себе на помощь шведов, а эти, в возмездие за то, достигнут того, чего хотят достигнуть теперь при помощи войны, а она еще неизвестно чем может кончиться.

Не невозможно также, что, поставя себе в заслугу невмешательство в кризисе, в котором теперь Россия, шведы не потеряют ничего, в том [121] предположении, что герцог курляндский принужден желать быть обеспеченным от соседей для достижения-ли цели, к которой стремится его честолюбие, или же для более крепкого упрочения, во время регентства, положения своего, как герцога курляндского.

Досадно для меня то, что отдаление и невозможность угадать столь близкую кончину царицы не позволяют мне извлечь из такого положения выгод, которые, при имени мною королевских повелений, могли бы принести пользу его службе, смотря по обстоятельствам, которых надобно ожидать с минуты на минуту. Покрайней мере я не ограничусь тесным кругом, который может касаться только достоинства моего звания. Я решился, чтобы не подвергать его нареканию и за неимением инструкций, как мне следует поступать, послать на этих днях моих дворян (*mes gentilshommes*) к принцам и принцессам выразить им от меня, что хотя мои обязанности прекращаются со смертью царицы, однако я не желал откладывать по-крайней мере моих уверений в том, как разделяю я их живейшую и справедливую горесть, о чем и лично не замедлю засвидетельствовать, как только мне будет известно, что можно будет это сделать *incognito*, которое обязан теперь соблюдать.

Чтобы не пропустить ни одной подробности: у гр, Остермана я просил сегодня утром о паспорте для курьера, которого желал к вам послать, и он в полдень прислал убеждать меня отложить до завтра эту отправку. Секретарь кабинета, которого он присылал ко мне, приводил в оправдание тому необходимость приложить к этому паспорту новую печать, так как печатая его старую, уже разбитую, может встретиться остановка для моего нарочного. Я ему отвечал, что это обстоятельство не может иметь места, разве только вперед послали о том повеления на [122] границу; что как здесь печати придают важности более, чем где нибудь, то мне кажется напрасным разбивать ее, тем паче, что герб несколько не изменяется и только надобно переделать несколько букв; что дать мне паспорт, который не помешает однако опоздать моему курьеру, будет ребяческою игрою, которая может продолжиться только до возвращения моего нарочного, потому что я, осведомившись о задержке его, первым долгом сочту принести на то жалобу гр. Остерману; что русский двор один, который не признает достаточным открытых видов от иностранных министров, но уважая этот обычай, пока нахожусь в сношениях с гр. Остерманом, я тем не менее обязан исполнять первейшие мои обязанности; что самое существенное для меня сообщать королю о всем, что ни происходит; что я впрочем не могу сообщить ему о событии, которое его интересует более по чувствам, питаемым им к царице, чувствам, о которых я передал ей самой, но вовсе не ее министрам; что я, следовательно, полагаюсь на благоразумие, мудрость и опытность гр. Остермана, и уверен, что он поймет мое нетерпение и даже справедливо обиделся бы, когда бы я отлагал при таких обстоятельствах минуту вышолнения моих обязанностей; что, наконец, мои письма готовы, также как и курьер, и я жду только паспорта и подорожной на лошадей.

Письмо де-ла-Шетарди из Петербурга 29/18 октября 1740 года.

Положение, в котором я нахожусь, так ново, что никогда не будет раннею помощью вашими советами, и я прибегаю в этом частном письме к вашей доброте. Оно касается множества предметов, одинаково важных для моего образа действий.

Я не должен опасаться быть слишком предусмотрительным, как только это может обратиться на пользу службы королю, почему беру окончательно смелость представить на усмотрение ваше несколько обстоятельств, лично до меня касающихся.

Если происшедшая перемена не повлечет никаких изменений в моем положении, что, по моему мнению, довольно трудно предполагать, то должен ли я оказывать принцессе Анне те же почести, которые были следствием угодливости к покойной царице, или же считать ее только принцессою брауншвейгскою ?

Ея положение матери царствующего государя может или не может требовать (susceptible) того же почета, который выказывал ей королевский посланник при своем приезде? В случае если бы были сделаны какие нибудь распоряжения, как в этом отношении, так и в титуле высочества — должен, или не должен я уступить тому, что будет постановлено?

Может быть это постановление будет распространено и на принца брауншвейгского, к которому может быть надобно быть внимательным для короля и королевы прусской, почему необходимо, чтобы вы мне написали, как я должен поступать?

Не менее необходимо, чтобы я знал, как обязан я обходиться с герцогом и герцогинею курляндскими, надутыми своим успехом и также ревнивыми к [132] прерогативам, неисполнение которых может уронит, по мнению их, звание, которое они будут носить здесь. Может статься, что титул регента побудит герцога требовать себе титула королевского высочества.

Вследствие опьянения, которому — я не буду тому удивляться — он предается, у него может явиться намерение ухаживать (*de tenir sa cour*) за дочь Петра Первого; каким образом должен я поступать в таком случае ?

Если представятся случаи, чтобы я поспешил аудиенциею — дать мне ее может никто иной, как регент, то как ее отправить? и подобный акт не может ли быть им понят так, что будто я отступаю от намерения, которое поддерживал до сих пор, — обходиться с ним, как с равным.

Также прошу, чтобы все, что вами будет предписано по этому предмету, простиралось и на мое обращение с двумя принцами и принцессою курляндскими.

В предположении напротив, что настоящее положение дел не дозволит мне долее оставаться здесь, как должен выехать отсюда? соблюдать или не соблюдать тот же церемониал, как при моем прибытии, касательно визитов между мною и герцогом, герцогинею курляндскими, сыном их наследником, принцем брауншвейгским и принцем гессенским?

Всего естественнее, что тому, кто уезжает надобно делать первому визиты; отдача визитов обязательна ли для тех, которые не примут прощального визита? Церемониальному письму всегда предшествует предписание об отзыве. — Я не знаю, может ли второе иметь место в положении, в котором я нахожусь, но первое, как бы то ни было, есть подтверждение удовольствия двора поведением министра, который к нему был послан. Должен ли я его требовать? Впрочем, кто может мне его дать? Царицы уже нет [133] в живых, я не акредитован у царя, и не могу по справедливости иметь кредитива к нему, как только он не в состоянии доставить первой нотификации.

Равным образом мой отъезд даст ли мне, наконец, право отказаться от подарков на прощанье, что в обычае при этом дворе?

Лично касающиеся меня статьи, на которые, я льщу себя надеждою, вы удостоите обратить ваше внимание, трояки:

Первая касается Швеции в случае, если вы предпишете мне выехать отсюда: дорога туда по случаю льдов в Ботническом заливе открывается только к началу апреля.

Вторая касается печального и досадного положения, в котором я может быть буду находиться: я устроился в моем доме только в прошедшем месяце, так как надобно было его переделать, чтоб иметь помещение, приличное моему званию. Желая дать простор рабочим, я был принужден перейти в сад, и мне дорого стоило сделать его хотя несколько обитаемым. Если вследствие неизбежных событий, у меня не было времени поправиться при

помощи некоторых сбережений в собственных доходах; то мое усердие, которому одному я внимал, повлечет за собою мое конечное разорение. Вы легко рассудите, что было бы выше моих сил делать мне в этом случае огромные издержки на столь долгое и тяжелое устройство хозяйства без помощи возмещения, относительно которого я обращаюсь только к вашей доброте.

Мое положение еще под влиянием необходимости, в которой я нахожусь, по случаю отдаленности и прекращения всяких сношений, запастись для себя все припасы на год. Вы с трудом поверите, что по [134] этой самой причине для придворных торжеств в прошедшем году у меня вышло 20 т. франков на платья которые ни разу не надевались и сделались мне не нужными по случаю смерти царицы

Письмо де-ла-Шетарди из Петербурга от 1 ноября/21 октября 1740 года.

Милостивейший государь! Чтобы ответить на вопрос, вами сделанный в письме, о получении которого я имел честь извещать вчера, долгом считаю вам сообщить, что мне никоим образом неизвестно о назначении мехов и персидских материй, которые предполагал послать во Францию герцог курляндский. И я, и г. Зум, который служил при этом разговоре переводчиком, могли предполагать, что этот подарок предназначался маршалу Бирону. Так как потом герцог мне ничего не говорил об этом, то не невозможно, что важные заботы, которыми он ныне поглощен совершенно, не изгнали из его головы это намерение

Г. Зум, о котором я имел случай упомянуть. кажется останется здесь по возвращении из Варшавы, и может скоро занять место, которое, как предполагают, ему приготовил король прусский.

Если первые знаки привязанности царицы к царю (т. е. Ивану) могли напомнить о намерении, высказанном ею в первое время своего царствования относительно принцессы Анны, то результаты однако нисколько не оправдали того, что эта последняя должна была ожидать от ее нежности. Царица, недоверчивая, неспособная выполнить какого либо намерения, не обращала более внимания на то, что могло быть приятно [135] нации, и ею руководили только тщеславие или слабость ее.

Эта самая нация, далекая от того, чтобы оправдать недостаток покорности, который в ней предполагают, конечно доказывает теперь происходящим в ней, как она способна нести всякое иго. Она присоединила к этому то, что может быть объяснено низостью, к которой склонна более, нежели к чему либо. Никто не ездит к принцессам, тогда как все спешит к герцогу. Прекратили все почести, которые воздавались принцу брауншвейгскому, как отцу царя; у него не целуют более руки, но за то униженно лобызают руку герцога. Сенат, как я предугадал в моем прошедшем письме, объявил указом о титуловании герцога его королевским высочеством, и это было объявлено после полудня при звуке барабанов.

Большее унижение, которое причиняется всем этим принцу брауншвейгскому, разжигает бессильную злобу его сторонников; они громче стали проповедывать против барона Кейзерлинга, брауншвейгского посланника, и подозревают его с тем большею вероятностью, что он пожертвовал врученными ему интересами в пользу герцога регента, что он в тоже

время его поверенный (*arne damnee*) во всех его курляндских делах, и считался больным во все время, когда дело было в неизвестности, а как только оно устроилось, то начал выезжать. Ворчат также против посланника прусского короля и резидента императорского в уверенности, что они должны бы были, по кровным связям, помогать так, или иначе, своими советами принцу брауншвейгскому.

Нельзя отвергать того, что настоящее время доставляет новости беспримерные; с трудом поверят, что отец царствующего государя был только подполковником гвардии семеновского полка, и что он выполнял эту обязанность в то самое время, когда [136] пред войском превозглашали регентом на время малолетства его сына того самого человека, которого курляндское дворянство не считало достойным принять в свое сословие не далее, как 18 лет тому назад.

Исключительное положение принца брауншвейгского в настоящую пору и спокойствие, с которым он, а равно и прочие гвардейские офицеры, поддается всем распоряжениям о регентстве, возбудили к нему презрение, которое может увеличиться. Будет для принца вредно, если подобное чувство утвердится. Принцесса же Анна выросла в глазах нации своею твердостью, которую выказала, взяв к себе своего сына. Она поместила его в собственных покоях и объявила, что не расстанется с ним ни на минуту.

Не должно думать, чтобы герцог курляндский, когда спешил сам подать руку этой принцессе и посадить ее в карету, при переезде ее третьего дня из летнего в зимний дворец, действовал так по другим каким нибудь расчетам, кроме политических. Можно очень хорошо предугадать будущность, которую он готовит этой принцессе. Возвращение гр. Линара (В первый раз приезжал Линар в Петербург в 1733 г. и оставался там до 1736 г., в который его сменил несколько раз уже упомянутый здесь Зум (*Der geneal. Archivarius, Suppl. Leipzig 1734, S. 468* и ч. XXIX, S. 719). О Линаре будет еще сказано подробнее ниже), чему я старался отыскать причины, сначала подало повод к тысячи предположений. Некоторые думали, что герцог курляндский, не будучи в состоянии по летам своим состоять при покойной царице и между тем зная, что это ей было необходимо, вздумал заменить себя Линаром и тем возбудить в последнем признательность, которой не ожидал от русского. Предполагали еще, что при помощи такого способа герцог курляндский надеялся удержаться при царице, и, [137] поставив гр. Линара в зависимость от себя, оставаться властелином, хотел ли бы тот удержаться или отстать. Я, не пускаясь нисколько в такие тонкие соображения, всегда возвращение Линара приписывал принцессе Анне и твердо верил, что гр. Линар будет для герцога курляндского орудием, которым он воспользуется, чтобы вызвать прошлое, поколебать в случае надобности доверие в народе к принцессе Анне и посеять раздор между нею и принцем брауншвейгским. Выгоды Бирона, без сомнения, требуют более, чем когда либо, уничтожения благоприятного к ним расположения.

Подобными предосторожностями нельзя пренебрегать на поприще, которому герцог теперь следует; вы лучше будете судить об этом по печатному немецкому листку, при сем препровождаемому. На будущей почте я надеюсь переслать и русский оригинал. Как ни трудно иметь тот и другой, однако еще важнее было бы убедиться, подлинный ли он, или подложный? Зная здешнее слепое повиновение воле государя, невозможно согласить решение, последовавшее 5 октября по старому стилю, с тем, которое объявлено 16 октября. Последнее составлено только при содействии государственных чинов (*des membres de l'Empire*), и потому кажется до сих пор бесполезным, не имея никакого соотношения с

предшествовавшим определением. Барон Мардефельд, которого я воодушевил касательно этого предмета, должен приложить все старания к тому, чтобы раскрыть истину. Я даже предложил назначить награду тому, кто сообщит нам положительные о том сведения; хотя в качестве более, нежели кто либо, равнодушного зрителя к тому, что ни последует, я хлопочу в этом случае лишь об удовлетворении моего собственного любопытства 18.

Со стыдом замечают в этом завещательном [138] распоряжении, что покойная царица возлагает на попечение герцога курляндского содержание царской фамилии. Если можно извинить ее память в подобном снисхождении безграничною слабостью, то еще более достойно удивления, что ослепление или ненависть к потомкам Петром I заглушили в ней даже чувство, которое могла и должна была внушить ей слава этого государя. Пусть отдала бы она преимущество потомству царя Ивана, своего отца; пусть даже повинуются распоряжению, по которому она продолжила регентство герцога курляндского на такой срок, что наследники царя Ивана будут призваны на престол не ранее смерти герцога; но никак не могут понять, каким образом она, на случай прекращения этого потомства, не обеспечила наследия за детьми юного герцога голштинского и, главное, передала права, единственно обуславливаемые происхождением, тому, которого регент и чины империи выберут в этом случае единогласно ?

Это условие открывает просторное поле для честолюбия герцога курляндского; жизнь царя и его братьев, если последние будут, может только одна служить ему преградой. По этому предполагая, что произойдет противное и что герцог курляндский отныне только в продолжении года успеет удержаться на занимаемом им ныне месте, я, не колеблясь, думаю, что его увидят вступившим на русский престол и утвердившим на нем свое потомство.

Смелость фельдмаршала гр. Миниха отчасти послужит для герцога курляндского средством к отстранению препятствий, которые могут представиться, и в тоже время Миних обеспечен в совершенной к нему доверенности на время, пока продолжится критическое положение и неизвестность. Остерман, напротив, вследствие вражды к нему Миниха и того обстоятельства, что у него не спрашивали советов и не [139] выслушивали его мнений, поставлен в унижительное положение, в котором он до того времени никогда не был.

Он не мог этого скрыть перед бывшим посланником г. Бестужевым, который в настоящую минуту душа кабинета, потому что слепо предан предпринимаемым там тайным мерам; он действовал всю свою власть и внушил те же самые чувства кн. Куракину и адмиралу гр. Головину. Кн. Черкасский, об удалении которого я не мог еще сообщить положительного известия (чего вы кажется ожидаете от меня), действует в этом случае, как единомысленник кн. Трубецкого, генерал прокурора, а в последнем герцог курляндский видит преданного себе приверженца. Этот же генерал прокурор увлек родного брата, а равно и двоюродного, фельдмаршала Трубецкого, гр. Головкина и принца гессен гомбургского, в одобрении которого тем более старались увериться, что он любим гвардейцами. Герцог курляндский успел наконец склонить на свою сторону старого генерала Ушакова. Вот особы, на которых можно смотреть, как на орудие и поддержку величия герцога. Таково настоящее положение, зная которое можно набросать верную картину русского двора, если только она не будет испорчена или украшена противодействием или повинованием, которое окажут провинции; но оне, по своему отдалению, менее могут чувствовать влияние высшей власти.

Может быть, чтобы предупредить неудобства разединения и волнений, как последствий разнородных привязанностей, принцессе Елизавете назначили ныне в первом часу по полудни ежегодный пенсион в 50 т. экю, не включая сюда доходов с ее имений. Может быть это сделано под влиянием склонности, которую издавна предполагали к ней в герцоге курляндском. [140]

Во всяком случае, факт не подлежит сомнению: я узнал о ней сию минуту от человека, которому говорила сама принцесса.

Впрочем, пускай употребляют такие средства из политических видов, пускай даже достигнут, что всеобщее волнение, прекращенное на время, будет заглушено; нравственно же несомненно, что если шведы решатся употребит в дело силу при этих обстоятельствах, то они будут от того в выгоде и последует революция, происшедшая перемена от которой нанесет вред интересам герцога курляндского. Но как видно, что эта перемена будет благоприятна принцу брауншвейгскому, то Швеции решить, что полезнее для нее, содействие ли к утверждению нынешнего порядка вещей, или же помощь прямая или непосредственная принцу, который будет состоять в совершенной зависимости от дворов венского и берлинского?

В отношении г. Финча конечно не мне поддерживать мнение, которое вам угодно иметь о моем усердии. Настоящая минута поставила его в полнейшее бездействие. Он вышел только из летаргии, чтобы поспешно и с рабскою покорностью смешаться с толпою и угождать герцогу курляндскому с той минуты, как последний был объявлен регентом. Этот почти не смотрел на него. Такая поспешность английского министра была замечена и осуждаема всеми.

Прочие иностранные министры жаловались, что г. Финч как будто принял себе за правило унижать свое звание. Он бы мог, действительно, знать сам, как неуместен был подобный образ действий при том, что сделано русским двором в отношении всех иностранных министров, и о чем я имею вам сообщить. Генерал лейтенант Дюбрас, (советник [141] Штейниген тоже сделал для прочих иностранных министров) приезжал вчера в экипаже в 6 лошадей известить меня от имени герцога курляндского, что царица Анна скончалась 17 октября, по старому стилю; что царь Иван, третий по имени, вступил на престол и что герцог курляндский превозглашен регентом до достижения этим принцем 17-ти летнего возраста; что эта перемена не повлечет за собою никакого изменения в делах; что Россия всегда поспешит выразить свои чувства и признательность к Франции; наконец, что канцелярии даны приказания написать поспешно известительные письма, которые и отправят с такою же поспешностью. Я узнал после, что они будут подписаны именем Ивана, рукою герцога курляндского и контрастированы, по обыкновению, министрами кабинета.

Я отвечал г. Любрасу, что узнал о кончине ее величества с живейшею горестью; что она могла только уменьшиться при известии о счастливом восшествии на престол царствующего государя и выборе, по которому герцог курляндский сделался регентом империи; что эта перемена не произведет изменения в делах, и что расположение, высказанное Россиею, будет очень приятно королю, которому я не замедлю отдать о том отчет.

Чтобы не быть в долгу в исполнении обычных приличий, я сегодня сейчас послал отдельно моих дворян с визитами к принцам и принцессам, о чем я сообщал вам третьего дня. Бывший у принцессы Елизаветы видел ее и сообщил мне от ее имени, что всегда в моей воле приехать к ней, под каким бы предлогом я ни захотел. Герцогиня курляндская ответила чрез посланного мне почти таким же образом; но герцог курляндский, отвечая самым вежливым и обязательным образом тому же посланному, представлял свои занятия и дал мне понять, [142] как мало ему свободных минут для приема меня. Третий посланный, бывший у принцессы Анны и принца брауншвейгского, не мог их видеть, так как, не будучи еще в трауре, они не могли принять визита. И та, и другой поручили мне передать тысячу благодарностей и уверить, что они очень тронуты таким с моей стороны вниманием. Принц брауншвейгский не ограничился этим и, по естественному внушению вежливости, которой я должен был ожидать от него, послал, минутой спустя, одного из своих камер-юнкеров изъяснить мне, что если бы не было инкогнито, в котором они находятся до траура, он поспешил бы принять моего посланного и воспользоваться честью, которую я окажу им своим посещением. Я просил этого камер-юнкера передать принцу брауншвейгскому, что мое усердие ко всему его дому должно служить ручательством в искреннем участии в печали, и, как ему уже сообщено от моего имени о прекращении моих обязанностей по случаю кончины государыни, то я могу только иметь честь видетсья с ним инкогнито, которое вынужден сохранять; под таким условием я готов быть у него, когда он уведомит меня, что свободен.

Комментарии

15. Подробности о назначении Бирона регентом описаны лицами, игравшими при этом главные роли: сам Бирон оставил о том записку, которая сначала на немецком языке была подана русскому правительству времен Елизаветы, а потом в неполном французском переводе помещена у Бюшинга в IX томе его Магазина под заглавием: "Motifs de la disgrâce d'Ernest Jean Biron duc de Courlande; фельдмаршал Миних рассказывает о том же в сочинении *Ebauche pour donner une idée sur la forme du gouvernement russe*, равно как и сын его — в Записках, изд. в Москве 1817 года. Последнему же, по всей вероятности, принадлежит ответ на вышеназванную записку Бирона в том же томе Магазина Бюшинга, стр. 399 — 414. Казалось бы, что рассказы подобных лиц могли удовлетворять историка, и он в праве пользоваться ими, как источниками, не требующими проверки. но, при ближайшем рассмотрении, оказывается их несостоятельность во многих отношениях. И Бирон, и оба Миниха были слишком прикосновенны к описываемому ими событию, чтобы могли представить его в настоящем свете. Еще важнее то обстоятельство, что Бирон и Миних сын писали в ссылке, в царствование Елизаветы, когда эта прикосновенность могла еще вредить им лично, почему они и составляли собственно не исторические записки о своем времени, но скорее оправдательные акты, в которых старались взаимно подгадить друг другу, отклоняя от себя ответственность за происшедшее при кончине императрицы Анны.

В дополнение известий, сообщенных об учреждении регентства маркизом де-ла-Шетарди, помещаю здесь депешу английского резидента Финча. Она написана три недели спустя после события и тем более заслуживает внимания, что Финч принадлежал к сторонникам Бирона и был к нему более близок, чем прочие иностранные министры.

“Касательно вопроса об опеке (во время малолетства Ивана Антоновича) Бестужев выразил свое мнение в таких выражениях: весьма трудно, говорил [124] он кн. Черкасскому 5 октября, выбрать опекунов из семейства Ивана, или вручить управление многим лицам. Если захотят доверить опеку матери Ивана, то уж лучше превозгласить ее тотчас же императрицу, потому что в первом случае она будет облечена самодержавною властью и в состоянии ниспровергнуть новый порядок наследования. Кроме того, должно опасаться, чтобы эта принцесса не была мстительного характера и не наследовала своенравных наклонностей своего отца. Последний может немедленно возвратиться в Россию и своим влиянием на дочь вмешать русских в свои частные неудовольствия, рассорить их с венским двором и многими из имперских владетелей, с которыми поддерживать дружбу для России, при настоящих обстоятельствах, будет выгодно. С другой стороны опасно, чтобы по влиянию мужа принцессы Анны, герцога брауншвейгского — племянника императора и шурина короля прусского (Фридрих II был женат на принцессе брауншвейгской, сестре Антона Ульриха) — дворы венский и прусский не приобрели сильного значения на дела России, так как большая разница между допущением этих дворов управлять собою и ссориться с ними. Впрочем принцесса не имеет никакого понятия о делах страны ни внешних, ни внутренних, и потому она, по мнению Бестужева, казалась совершенно неспособною предпринять или привести к доброму концу такое тяжелое дело. Последняя часть этих возражений сильно задевала принца брауншвейгского, так что этот принц долженствовал также быть исключенным из правления. Относительно совета регентства все знали, что подобное учреждение противоречило в теории существу образа правления в России, духу народа и опыту, сделанному 11 лет тому назад, когда Анна Иоанновна вступала на престол. Бестужев считал это столь очевидным, что не находил нужды распространяться о том. Выразившись таким образом, он принялся доказывать выгоду вручения опеки над принцем Иваном герцогу курляндскому: ему были известны все дела, он привязан к истинным выгодам России, в высоком звании, благоразумен и бесстрашен. Что касается до него, Бестужева, то он убежден, что им необходим человек, и этот человек есть именно герцог курляндский. Если его товарищ, князь Черкасский, разделяет его мнение, то они вместе с некоторыми из знатных, попытаются убедить императрицу вручить герцогу курляндскому опеку над принцем Иваном. Кн. Черкасский изъявил на это согласие, и предположение было сообщено прочим членам кабинета, которые также согласились.”

“За тем Бестужев пошел немедленно передать о том герцогу курляндскому и спросить, примет ли он регентство в случае, если ее величество, вняв всеподданнейшим представлениям их, изъявит согласие на поручение ему опеки? Сначала герцог показывал вид, что он отказывается от принятия такой тяжелой обязанности, которая была выше его сил. Бестужев послал за князем Черкасским, чтобы этот, для убеждения герцога, присоединил свои настояния к его. Бестужев, по наружности, говорил чрезвычайно грубо его светлости, напоминая, что всем, чем он теперь, герцог обязан России и что, по крайней мере из признательности, не должен покидать ее в отчаянном положении, когда в состоянии оказать столь явную и важную услугу и приглашается к тому многими значительнейшими в государстве лицами; что сохранение процветания России и его собственных владений неразлучны и что он не может оказать услуги [126] России, или покинуть ее в такое критическое время, не спасая или не губя себя. Наконец герцог согласился, чтобы кабинет — это были его собственные слова — следовал пути, который он сочтет полезнейшим для выгод России.”

“На этом дело и остановилось 5 числа. На следующий день ее величеству сделалось хуже. Рано позвали гр. Остермана во дворец, и кабинет сообщил ему о всем происшедшем вчерашний день касательно регентства и просил его высказать свободно свое мнение, потому что не было сделано еще никаких распоряжений о том. Его превосходительство, как я слышал, хотел было уклониться от подачи своего мнения под предлогом, что предмет был слишком важен для него, что он чужеземец, а такой вопрос непременно должен быть предоставлен обсуждению русских. Бестужев — между ними не царствует полного согласия — тотчас же возразил, что он удивляется, слыша гр. Остермана говорящим таким образом и считающим себя чужеземцем, после того как он так долго исполнял одну из первейших должностей в государстве и управлял почти исключительно один всеми государственными делами; что поэтому самому он, Бестужев, считает графа не только русским, но стоящим двадцати тысяч русских; что ему вовсе не хотят навязывать кабинетского мнения, но желают только знать его собственное; что если он не хочет его высказать, то кабинет не видит, какую пользу может принести его присутствие при совещаниях?”

Из таких речей гр. Остерман скоро догадался, до чего дошло дело, и переменил тон. Он разъяснил первый свой ответ тем, что его дурно поняли, и что он думает, что регентство не может быть в лучших руках, когда будет поручено герцогу курляндскому, и что невозможно принять более мудрой [127] меры для выгод России. Тогда его просили составить акт о назначении Великого князя Ивана наследником царицы (см. приложение I) и другой, в силу которого регентство было бы передано герцогу курляндскому (см. приложение II) (Здесь у Финча неточность: определение о регентстве, как видно из дела о Вироне, писал Бестужев-Рюмин 7 октября). Это было скоро исполнено, и Остермана попросили оба акта отнести к ее величеству и второй из них представить ей от имени всего кабинета, как выражение его желаний. Поручение это гр. Остерман исполнил в тот же день. ее величество немедленно подписала акт, касающийся наследования, а Остерман приложил к нему государственную печать. Что же касается до бумаги о регентстве, то она приказала ему оставить ее у себя, Однако состояние царицы становилось со дня на день хуже. 11 числа у нее была такая слабость, что все опасались, не пришли ли ее последние минуты, и совет просил Остермана явиться снова к царице, чтобы постараться разузнать, подписала ли она распоряжение о регентстве? Она ему отвечала, что все, касающееся ее воли и желаний ее, найдут, когда она скончается. Тогда кабинет предложил, чтобы министры и все чины до полковника, разделяющие мнение относительно регентства, подписали акт, в котором объявлялось бы, что в случае, если царица не сделает иного распоряжения, или же не оставит никакого, они признают герцога курляндского регентом на время малолетства Ивана.”

“Я думаю, что это предложение было сделано не столько из предосторожности, потому что герцогу конечно было известно сделанное ее величеством в его пользу, сколько из политики и для показания тем, что регентство ему вручено, как вследствие желания [128] значительнейших в государстве лиц, так и по решительной воле царицы.”

“Того же 11 октября. три главных министра и фельдмаршал Миних являлись от имени кабинета к принцессе Анне и спрашивали ее, кого она считает лицом, способным занять место регента? Она очень желала бы не высказывать своего мнения, но как ей хорошо было известно решение, принятое кабинетом, то она дала наконец понять, что это было герцог

курляндский, или по крайней мере ответ ее был истолкован в таком смысле (La cour de la Russie il y a cent ans, p.p. 62 — 65)".

Замечательно, что ни Бирон, ни Миних сын в своих известиях не говорят почти ничего о степени участия в описываемом деле Алексея Бестужева-Рюмина. Такое умолчание понятно, если не забывать, что эти лица писали свои записки в то время, когда Бестужев был еще всесильным министром Елизаветы и когда, следовательно, его задевать было опасно. В деле Обироне (Чтения общ. истории и древн. ч. И, 1862 года) Бестужев обвинен, как зачинщик предоставления регентства Бирону.

Вот еще свидетельства современников, которым предлагались допросы по этому делу в 1741 году, по восшествии уже на престол Елизаветы: "Граф Левенвольд сказал: о предприятиях бывшего герцога курляндского, чтоб в российском государстве быть ему регентом, никакого с ним согласия он, Левольд, не имел. А как ее императорскому величеству государыне императрице Анне Иоанновне в болезни зело тяжко стало, то прислано было к нему от него, герцога, чтоб он ехал во дворец, и как он приехал к нему, герцогу, и он, ему объявля, что ее величество трудна, спрашивал, что делать? На что он сказал, что он не знает, — надобно-де для того [129] призвать министров. Он его послал для того ж к графу Остерману, который ему сказал, чтоб бн в ответ донес, чтоб о наследстве иметь совет, и ежели быть наследником принцу Иоанну, так матери его должно быть правительницею, и при ней учрежденному совету; а в том же совете может присутствовать и он, герцог. И когда он, возвратяся к герцогу, те Остермановы слова сказал, то он ему ничего больше не говорил, как только то, что какой-де имеет быть совет: сколько голов, столько-де разных мыслей будет! А больше-де того о сем деле он незнает и е ним никакого совету в противность к пользе государственной он никогда отнюдь не имел."

"Барон Менгден сказал: какие предприятия у бывшего регента (чтоб ему, Бирону, по кончине блаженные памяти государыни императрицы Анны Иоанновны в российской империи имет правительство) были, того не знает; и он ему о том деле ничем не советовал. К тому ж ему Бирон сам сказал, чтоб он, Менгден, о том деле ему не говорил для того, что он Менгден, ему свойством обязан. Однакож он посылан был от бывшей герцогини курляндской к принцессе Анне, чтоб ее на то привезть, дабы она допустила тому герцогу регентом быть, на что-де она, принцесса, ему, Менгдену, ничего не сказала, но токмо фрейлина Юлиана ему объявила, что принцесса Анна будет о том с герцогом сама говорить, а больше того, он о сем деле конечно не знает."

"Примечание. А по следственному о бывшем регенте делу явилось, что оный Менгден другим внушал, что ежели Бирон регентом не будет, то они, немцы, все пропадут! А ему-де, Бирону, самому о себе просить нельзя, и для того-де не можно ли о том как стороною ее императорского величества блаженные памяти просить, почему согласясь с фельдмаршалом Минихом именем всего государства челобитную изготовили."

"Остерман ответом показал, что при болезни блаженные памяти государыни императрицы Анны Иоанновны по определению о наследстве манифест он, Остерман, в своем доме сочинял. Который писал по его сказыванию Андрей Яковлев, понеже к нему приехав в дом бывший фельдмаршал Миних, князь Алексей Михайлович Черкасский, да Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, объявили ему указ от государыни императрицы, чтоб быть в наследстве российского престола принцу Иоанну и о том сочинить манифест. И как манифест еще был не

окончен, а о скорейшем того сочинении от двора была присылка, дабы немедленно оно прислано было, который он, окончив начерно, с Андреем Яковлевым и отослал.”

16. Тохмас Кули-Хан, известный потом под именем шаха Надира, был сначала министром персидского шаха Тохмаса, но в 1733 году, имея в своих руках все войско, лишил его престола и стал управлять Персиею именем малолетнего сына Тохмаса — Софи. В 1736 г., он созвал в Испгани знатнейших персиян и, объявив им, что в настоящее время страна свободна от мятежников и внешних врагов, предложил: кого они хотят иметь своим шахом — сверженного ли им Тохмаса, сына ли его, или же, наконец, когонибудь другого? Тогда все предложили престол Кули-Хану, который, сделав вид, что неохотно принимает это избрание, однако вступил на престол и прославился своими жестокостями и победами над великим Моголом.

17. Почти в то же самое время, как писал о мехах и персидских тканях де-ла-Шетарди, именно в ноябре 1740 года, Барбье занес в свой дневник (*Chronique de la regence et du regne de Louis XV, troisieme serie, pag. 232*) следующий случай:

“Госпожа де Мальи знала маркиза де-ла-Шетарди, назначенного посланником в Московию к царице, и имела с ним сношения. Прощаясь с нею пред отъездом туда, он предлагал ей свои услуги при этом дворе. Она благодарила, отзываясь, что не имеет там больших знакомств; но потом, вспомнив, что в той стране достают превосходные меха, она просила приобрести для нее мех и два куска персидской материи, предупреждая, чтобы первый и вторые не превышали стоимостью 300 ливров каждые, так как не желает слишком хороших, потому что недовольно для того богата; деньги же отдаст тотчас по получении письма о том. Маркиз с удовольствием взял на себя это поручение.”

“По приезде в Петербург и ознакомившись несколько с страной, де-ла-Шетарди разузнал, как можно доставать там меха. Правда, что в Московии были превосходные, но говорят, что они все достаются царице, у которой делается из них в роде склада — отчего приобретать их затруднительно. Посланник, молодой и привлекательный, был в почете при дворе царицы и сообщил о своем поручении гр. Бирену, герцогу курляндскому и любимцу императрицы. Этот говорил ему о затруднениях доставать подобные товары, но в то же время спросил, очень ли ему это нужно и можно ли узнать, от кого дано такое поручение? Маркиз де-ла-Шетарди ему отвечал очень просто, что для госпожи Мальи, которая при том назначила и решительную цену. Герцог курляндский просил его не затрудняться более и уверил, что обделает дело, как нельзя лучше. Он передал о том царице, и как дело шло о подарке любимице французского короля, то выбрали превосходные два меха, один в 30 т. ливров, другой в 60 т. (прекрасное вообще все ужасно дорого!) и 12 кусков самых изящных персидских материй (*perses*). Герцог курляндский сам уложил их и сказал потом де-ла-Шетарди: “ваше поручение исполнено, вам только остается послать во Францию.” Де-ла-Шетарди, не знавший что было уложено, ни цену, спрашивал герцога курляндского, сколько ему придется заплатить? Тот отвечал, что пустяки, и что он, также как и царица, очень рады оказать ему небольшое одолжение.”

“Посылка была отправлена при письме к Амело, статс-секретарю по иностранным делам. Одни говорят, что оно было написано де-ла-Шетарди, другие, что герцогом курляндским, потому что первый был в отсутствии во время отправления посылки. Как бы то ни было, в письме значилось: “что же касается до посылки, то прошу вас в том виде, как вы ее получите,

передать госпоже"... За тем — ни имени ни адреса! Амело, получивши посылку и письмо, был в большом затруднении, для кого предназначалась посылка, разве не принцессе ли (madame de France)? Однажды, после заседания в совете, он говорил о том королю при других министрах и все, подобно ему, были в недоумении. Граф Морепа, статс-секретарь, сказал: "но это вероятно для госпожи Мальи, которая знакома с де-ла-Шетарди и давала ему какое то поручение. Надобно будет разведать об этом."

"Вечером, король за ужином с своими придворными и госпожею Мальи, начал подшучивать над нею, что она получает подарки от иностранных дворов, нисколько не предупредив о том. Госпожа Мальи, которая гордится тем, что никогда не просит ни за себя, ни за кого бы то ни было (щекотливость довольно неуместная — прибавляет Барбье!), при том же ветреная и, вероятно, уже осушившая несколько рюмочек, обиделась насмешкою. Ей ничего не было известно о происшедшем, и она приняла дело не в шутку, отвечая, что ни от кого не принимает подарков, так как не дочь его министров; за тем перешла к господам Морепа, Амело и Фюльви, [145] свояченице генерал-контролера, заметив, что последняя получает подачки со всех товаров индейской компании (avait un pot de vin sur toutes les marchandises de la compagnie des Indes), что действительно так и было. Дело обращалось не в шуточное, придворные хранили молчание, король принял серьезный вид, но примирение не заставило себя долго ждать. О подарках не было уже речи, и я не знаю, что случилось с мехами!" ...

18. Сомнение в подлинности последнего распоряжения императрицы Анны о предоставлении Бирону регентства было не только у иностранных министров, но и у русских. Однако из дела, производившегося потом о Бироне и где внимательно собраны были все обвинения против него, нет подтверждений такому сомнению. Впрочем со стороны Бестужева-Рюмина был подлог в том, что означенное распоряжение, подписанное императрицею за несколько часов до своей смерти, именно 16 октября, он пометил, для придания большего веса акту, 6-м октябрем, когда Анна Иоанновна подписала первый манифест о наследовании императорским престолом принца Ивана. Когда потом, 23 октября, открыты были противники регентства Бирона, Бестужев "велел в свое оправдание, а в вящее Бироново регентом утверждение, записать, что ее императорское величество 16 числа подписать изволила, а что уже 6-м числом в публику выдано, то забвению предано."

Письмо де-ла-Шетарди из Петербурга 5 ноября/25 октября 1740

Я хотел убедиться в образе действий прусского и императорского послов во время кризиса, для чего [146] и пригласил их к себе обедать в среду. Стараясь выразить личную привязанность к брауншвейгскому дому и еще большую к королю и королеве прусским, я мог казаться не имеющим других видов, кроме их собственных, и тем поджигать обоих. Я успел в том и отдельно каждому дал урок так, что лучше нельзя было служить моей цели, как они то сделали в продолжении трехчасового разговора.

Они согласились, что у них вовсе не спрашивали совета, почему и не предпринимали ничего. Чтобы сложить всю вину на г. Кейзерлинга, прусский посланник думал, что надо употребить силу, и все зло приписывал недостатку в твердости, выказанному принцем брауншвейгским; напротив, чтобы его поддержать, императорский резидент описывал черными красками герцога курляндского и фельдмаршала Миниха, ссылаясь для оправдания на крайности, на которые всегда бы готовы были эти люди, и на опасность, которой неизбежно подвергался герцог брауншвейгский. Он (резидент) однако льстит себя надеждою, что зло не неисправимо, в подтверждение чему приводят то, что есть признаки подложности завещания царицы, которое вовсе не подписано, Я узнал наконец, что он надеется на силу влияния своего двора. которая поставит дела в более почетное положение и для его двора, и для принца брауншвейгского. Его надежды, если я не очень ошибаюсь, простираются до участия этого принца в регентстве или даже до того, что сам герцог курляндский совершенно устранил себя от участия в делах в его пользу.

Императорский резидент еще более поверил новости, распространенной, как кажется, Кейзерлингом; о ней я узнал третьего дня и сообщил резиденту от себя, не высказывая ничего о третьем лице. Дело идет о повелениях, посланных русским министрам [147] в Вену, чтобы они старались войти в переговоры, цель которых будто состоит в том, что герцог курляндский передает свою власть в руки принца брауншвейгского во всем, что может быть согласно с честью и безопасностью. Это уловка: я не колеблюсь предполагать, что если такое известие справедливо, то это делается не с другою какою целью, разве чтобы предупредить или остановить неудовольствие дворов венского и берлинского и усыпить их в переговорах, которые останутся без всяких последствий, как скоро герцог курляндский этим способом выигрывает время и средства, чтобы утвердиться на занимаемом теперь месте. В том можно убедиться из его действий и мер, принимаемых им, чтобы пленить тех и других. Вчера публиковали четыре разные указы (Здесь де-ла-Шетарди рассказывает не совсем точно содержание манифестов 23 октября 1740 г., напеч. в полн. собрании законов т. XI, №№ 8263 и 8264). Так как дворянство обязано отвечать за платеж подушной подати с их крестьян, то первым из этих указов слагается одна треть из того, что могут быть они должны казне. Вторым подтверждается сложение некоторых неуплаченных сумм, сделанное покойною царицею по случаю заключения мира тем из ее подданных, которые состояли должниками. Третьим повелевается, чтобы жалование чинам военным и гражданским, которое вполне выдавалось только в Петербурге, а в других местах из него удерживалась половина, повсюду выдавалось так, как это положено законами. Четвертым, наконец, все каторжные (*tous les galériens*), называемые так неверно, потому что их употребляют на общественные работы, а галерных матросов — только при постройках кораблей, все освобождены вполне, если [148] только не были наказаны за смертные преступления (*crimes capitaux*). Это исключение помещено в законе, и сущность его в том, что здесь всякий бедняк за малейший долг приговаривается, как выше сказано, к галерам.

Герцог курляндский, расточая подобные милости, тем не менее укрепляется и при помощи насильственных иер. Участие, которое по видимому возбуждает к себе принц брауншвейгский, не удерживает, но как, кажется раздражает герцога. Может быть он охотно пользуется случаем, чтобы дать принцу почувствовать зависимость, в которой он находится.

Генерал-адъютант последнего и Яковлев, бывший секретарь кабинета по иностранным делам, награжденный статским советником при крещении принца Ивана, посажены в крепость.

Кабаки, закрытые в продолжении многих дней, открыты. Шпионы, которых там держат, хватают и уводят в темницу всех, кто, забывшись, или в опьянении, осмелится произнести малейший намек.

Так как гвардии не доверяют, то сюда призвали шесть батальонов (армейских), из которых два уже прибыли, также как и 200 драгун. Однако, из опасения, чтобы гвардия не догадалась о недоверчивости к ней, фельдмаршал Миних произнес ей речь, в которой привел пустую отговорку, что гвардейцы служат только высочайшим особам и что герцог курляндский решился призвать на службу в Петербург армейских солдат из желания облегчить и уменьшить тягости по службе гвардейцев. Эта отговорка, впрочем, кажется не произвела желаемого действия.

Драгуны делают по ночам постоянные разъезды; прочия же войска, пришедшие или ожидаемые, назначены к занятию постов, размещенных по разным [149] частям города в близком расстоянии один от другого, чтобы можно было оказать при случае взаимную помощь.

Может быть употреблять эти предосторожности тем более благоразумно, что в народе волнение очень сильно, гвардейские солдаты — и никто им не смеет ничего сделать — говорят более смело, чем когда либо: и те, и другие довольно гласно рассуждают, что ничего нельзя сделать пока царица не будет предана земле, но что после отдания долга верховной власти, и когда гвардия сберется, тогда увидят, что произойдет. И прошедшие ночи, народ начал было собираться толпами в некоторых местах, но был разогнан драгунскими патрулями.

Народ еще недоволен тем, что в церквах молятся за лицо не их вероисповедания. Молитвы эти ныне произносятся 1) за царя, 2) за принцессу Анну, 3) за принцессу Елизавету и 4) за герцога курляндского. Это обстоятельство напоминает переданное мне, что принцесса Елизавета, всегда поминавшаяся на эктиньях непосредственно за царицей, спрашивала регента о причине такого изменения и получила от него в ответ, что она сама представляет пример, что при Екатерине ее поминали прежде, но это не помешало вступить на престол Петру II, и тогда прежде ее поминалась принцесса Наталья, сестра царствующего государя. Тоже самое ныне предоставлено матери того, кому принадлежит корона.

Такое мелочное различие, которым тем более должна удовлетвориться принцесса Елизавета, что по нынешним обстоятельствам она принуждена быть в согласии с принцессою Анною, мало вознаграждает последнюю. Я не думаю, чтобы она была довольна ежегодным пенсионом в триста тысяч экю, который назначен ей и принцу брауншвейгскому, с [150] уговором увеличить его, если они не найдут этого достаточным.

Будет еще менее довольна она, и принцесса Елизавета (подтвердившая мне, что она получила пенсион не в 50, а в 80 тысяч экю) разделит с нею это чувство, если правда, что мне сказывали под величайшим секретом, именно: что герцог, руководимый преимущественно скупостью и собственными выгодами, подбил некоторых из своих приверженцев, чтобы они будто сами от себя внушили другим и все вместе явились к нему с предложением, что государственные чины сколько для поддержки его звания, столько же и для содержания ему,

как регенту, отдельного двора, желают ему назначить ежегодный пенсион; что такое предложение ему уже сделано — и он отвечал только скромным изъявлением признательности, говоря, что не желает ничего, кроме возможности поддержать свое положение и иметь открытый стол особенно для тех, которые сделали ему такое предложение. Все это была только комедия, решение же зависело от него самого: он учредит для себя отдельный двор от того, который уже имеет, и чины, так называемые государственные, назначат регенту в непродолжительном времени пенсион в 500 тысяч экю.

Эти подробности приводят к существенному заключению, что нация, даже не будучи слишком проницательна, может заметить, что дочь Петра I, принужденная довольствоваться 40 тысячами экю, получаемыми с ее имений, ограничена пенсионом в 80 тысяч экю; что принц брауншвейгский и принцесса Анна, не имеющие никакой другой поддержки, имеют всего на все 300 тысяч экю, хотя сын их и царствующий государь; что герцог курляндский, напротив, пользуясь доходами по крайней мере в 4 миллиона французских [151] ливров от своих герцогств, земель в Силезии и денег, помещенных в Англии, имеет гораздо больший пенсион, нежели все прочие вместе.

Вероятно также не будут обмануты личиною, которою прикрыл себя герцог, и сумеют понять желание, чтобы не заметили противоречия, которое явно в поступках герцога: распоряжаясь полновластно и будучи хозяином казны в такой степени, что может располагать ею, не отдавая никому отчета, он в то же время делает вид, что имеет нужду в утверждении чинами и в искательстве их согласия, что при назначении ему содержания совершенно излишне.

Герцог курляндский без сомнения в видах предупреждения затруднений, которые могут возникнуть со стороны принца брауншвейгского, касательно титулования его, герцога, высочеством, решился дать принцу тот же титул. Указ по этому случаю будет издан на днях

По вскрытии тела царицы, увидели, что она скончалась от той же болезни, от которой умерли и две сестры ее. У ней в правой почке (*dans le roignon droit*) — я это узнал от самого гр. Остермана — камень более и длиннее большого пальца образовался в виде ветки кораллов. В том же боку было множество небольших камней, два в левой почке (*dans le roignon gauche*) по величине были между этими средними. Первый, отделившись от почек, запер мочевого канал (*le canal de vessie*), что произвело антонов огонь, окончивший болезнь.

Правила о ношении траура скоро будут опубликованы. Мне сказывали, что царская фамилия и дом герцога будут носить его из байки; на платье у мужчин вверху одна пуговица и три внизу, чтобы можно было [152] застегиваться. Все остальные лица будут разделены на четыре класса по званиям состоящих в них особ. Иностранным министрам будет предоставлено носить траур по их усмотрению.

Довольно опасная лихорадка принца - наследника курляндского, удерживает еще герцога и герцогиню курляндских в летнем дворце.

Так как г. Финч, прошедшую среду, имел с герцогом курляндским совещание, продолжавшееся два с половиною часа, то я придумал способ объясниться по этому предмету и желаю, чтобы он заслужил ваше одобрение. По моему обыкновению, я послал к гр. Остерману узнать, могу ли я его сегодня видеть? Я был у него вечером и только что сейчас от него. Прежде всего, я сказал ему, что мое посещение вызвано желанием выразить ему то участие, которое принимаю в горести по случаю кончины царицы. Потом мы с полчаса

говорили о незначительных предметах, так как мне хотелось перейти к главному предмету самым естественным образом. Его вопросы о гр. л'Етане и Бернардони (l'Estang et Bernardoni) (О л'Етане было упомянуто выше, на стр. 31; Бернардони же — французский эмиссар, приезжавший в Петербург в 1734 г., для переговоров о возведении на польский престол Станислава Лещинского) дали мне возможность навести разговор на Вену, что вмешивало г. де-Бюсси (de Bussi) (Бюсси этот был, кажется также в России, по крайней мере в La cour de la Bussie il y a cent ans приводятся депеши Бюсси из Петербурга 1730 года. В 1740 г. он был только что назначен французским министром в Лондон), который был там прежде — это случилось так, что я и не произносил его имени. Я воспользовался удобною минутою: — “Г. де Бюсси, о котором вы упомянули, сказал я гр. Остерману, напоминает мне о предмете, который, по мнению моему, кстати будет сообщить вам. Болезнь и [153] кончина царицы помешали мне быть у ней на аудиенции, на которой желал довести до ее сведения об отправлении Эскадры короля. Между тем вы мне передали от имени ее, что она тронута таким вниманием со стороны его величества (Людовика XV); но может быть, ваше превосходительство, будучи так заняты в последнее время, не подумали сообщить об этом герцогу курляндскому.” Остерман признался мне, что точно он этого не исполнил. “Если это так, продолжал я, то предоставляю усмотрению вашего превосходительства, не признаете ли вы удобным сообщить о том герцогу. Это может убедить его в мыслях, которые имеет король касательно войны между Испаниею и Англиею (Франция в начале войны Англии с Испаниею явно держала сторону последней и выступление французской эскадры о которой говорит де-ла-Шетарди, Англия должна была считать, как неприязненную против себя демонстрацию), и если бы, присовокупил я, ваше превосходительство не говорили мне по собственному побуждению и не разуверляли меня в ложности слухов о трактате между Россиею и Англиею, то быть может я бы не хранил молчания и обратил бы более внимания на газеты, всегда печатающие в статьях о Петербурге что нибудь об этом трактате, также как и на почти трехчасовую конференцию, которую. имел недавно г. Финч с герцогом и на частые посещения этого министра вашего превосходительства.” На это он стал усиленно убеждать меня, что русский двор никогда не вступит в обязательства, которые бы могли повредить признательности, должной его величеству. “В свою очередь прошу ваше превосходительство, возразил я, быть уверенным, что я не опасаясь быть в неприятном положении напоминать вам о том, что вы положительно высказали мне, без всякого со стороны моего вымогательства.” Последняя фраза [154] несколько смутила его, но он поправился, уверяя меня, что еще раз может мне повторить прежнее, что нет и речи о каком либо подобном обязательстве. Я отвечал ему, что если прежния его уверения, данные им по этому предмету, были чрезвычайно приятны королю, то он не должен сомневаться, чтобы старания его о возобновлении их теперь не доставили столько же удовольствия королю, и я постараюсь в точности передать ему о том. Чтобы не прекратить вдруг разговора на этом предмете, я продолжал его еще около четверти часа: говорили о предметах, которые он умеет охотно примирять с своими летами и важностью своего звания.

Дополнения к предыдущей депеше де-ла-Шетарди.

Все до ныне известные записки о регентстве Бирона упоминают только мимоходом о противодействии, которое было им встречено тотчас же по принятии правления. Известия об этом предмете де-ла-Шетарди также неполны, а между тем подобные подробности всего лучше дают понятие о современном обществе и отношениях его к властям; по этому самому здесь предлагаются современные русские известия о главнейших из противников Бирона в Петербурге, их желаниях и намерениях.

Во время кончины императрицы Анны, с 17 на 18 декабря, был в карауле в летнем дворце поручик преображенского полка Петр Ханыков. Узнав там, что правителем государства назначен Бирон, он рассуждал: “для чего-де так министры сделали, что управление всероссийской империи мимо его императорского величества (Иоанна III) родителей поручили его высочеству герцогу курляндскому?” 20 октября, [155] Ханыков приезжал на стройку казарм и говорил сержанту своего полка Алфимову: “что-де мы сделали, что государева отца и мать оставили: они-де, надеюсь, на нас плачутся, а отдали-де все государство какому человеку регенту! Что-де он за человек? Лучше бы до возрасту государева управлять государством. отцу его государеву, или матери.” Алфимов отвечал: “это бы правдивее было.” “Какие-де вы унтер-офицеры, продолжал Ханыков, что солдатам о этом не говорите? У нас-де в полку надежных офицеров нет — не с кем советовать; о том и надеяться не на кого, разве-де вы унтер-офицеры о этом станете солдатам толковать. Однакоже я уже о этом здесь при строении казарм и в других местах многим солдатам говорил, и солдаты все на это позываются и говорят, что напрасно мимо государева отца и матери регенту государство отдали; и бранят-де нас, офицеров, также и унтер-офицеров, для чего того не зачинают; что-де им, солдатом, зачать того не можно, и как-де был для присяги строй, напрасно-де тогда о том не толковали; а я б-де гренадерам только сказал, то б-де все за мною пошли о том спорить; что-де они меня любят и офицеры б, побоявшись того, все б стали солдатскую сторону держать. Только-де я, скрепя уже свое сердце, гренадерам о том не говорил, для того что-де я намерения государыни принцессы не знаю, что угодно ль-де ей то будет?”

На другой день, 21 октября, Алфимов у знакомого сержанта своего полка встретился с поручиком Михайлом Аргамаковым, который говорил с плачем: “до чего мы дожили и какая нам жизнь? Лучше бы-де сам заколол себя, что мы допускаем до чего, и хотя бы-де жили из меня стали тянуть, я-де говорить то не престану !...” Алфимов тотчас же об этом [156] передал Ханыкову, который немедленно изъявил желание повидаться с Аргамаковым, а 22 октября сообщал Алфимову: “ежели бы-де он, Ханыков, увиделся с Михайлом Аргамаковым и посоветывал бы с ним, проведали б от государыни принцессы, что угодно ль де ей это будет, то он-де, Ханыков, здесь, а Аргамаков на санктпетербургском острове учинили бы тревогу барабанным боем и гренадерскую б-де свою роту привел к тому, чтоб вся та рота пошла с ним, Ханыковым, а к тому б-де пристали и другие солдаты, и мы б-де регента и сообщников его Остермана, Бестужева, князь Никиту Трубецкого убрали. И притом-де более злобу тот Ханыков имел на оных Остермана и Трубецкого, говоря при том, что хотя-де к нему, Ханыкову, оный Трубецкой и добр был, только-де он с ними больше в тех делах сообщником имеется и у регента-де на ухе лежит; однакож-де завтра, т. е. 23 октября, поедет он, Ханыков, на Васильевский остров и увидится с Михайлом Аргамаковым.... Он же, Ханыков, сказывал ему, Алфимову, что преображенского полку от солдата, а от кого именно не сказал, который-де ходит к регентовым служителям, слышал он, Ханыков, что регентова намерение есть ко всем милость показать, между чем и в преображенский полк больших из курляндцев набрать, отчего-де полку будет красота, и при том он-де, Ханыков, рассуждал: вот де ничего не видя, хотят немцев набрать и поэтому нас из полку вытеснять!”

22 же октября, Алфимов был у другого своего сержанта Акинфьева, и здесь случился вахмистр конной-гвардии Лукьян Камынин, который толковал: “хотят-де ныне к солдатству милость казать и за треть жалованье выдать; доимку не взыскивать и с которых доимка взята, возвращать; а из полков [157] гвардии дворян отпустить в годовой отпуск а вычетными из жалованья их деньгами хотят казармы достраивать и тем-де солдатство и всех приводят де к милости. Чудесно-де, что господа министры допустили кого править государством! Вот-де мне и дядюшка Бестужев, а какой-де он министр? Вот коли бы-де Михайло Аргамаков сделал подписку — а какую, не выговорил — и притом говорилл, ему Алфимову: “говорим мы-де о сем наодин, и знаю де, что это дело смертельное, однакож донощику кто будет доносить, первый кнут!”

Доносчиком этим и оказался сам же Камынин. В тот же вечер он рассказал о Ханыкове и Аргамакове — Бестужеву-Рюмину, а этот поздно вечером приехал к Бирону с известием, что два офицера преображенского полка имеют злые умыслы. Камынин за отличие произведен в корнеты, а Ханыков, Аргамаков и Алфимов 23 октября арестованы и подверглись допросам (Busching's Magasin, IX, S. 392; Дело о Бироне, Москва, 1862 года, стр. 70). 31 октября их, в присутствии Андрея Ушакова, начальника пыточных дел и кн. Никиты Трубецкого, про которого Ханыков говорил, что он лежит на ухе у Бирона, поднимали на дыбу: Ханыкову дали 16 ударов, Аргамакову и Алфимову по 14. На пытке они нового ничего не добавили.

В записках Миниха сына находим, что граф Михаил Головкин, женатый на княжне Ромадановской — по матери двоюродной сестры императрицы Анны — последнее время был у нее в немилости, потому что говорил “вольные речи” о Бироне. Когда этот был назначен регентом, то Головкин высказывал на то неудовольствие при некоторым [158] гвардейских офицерах, а те уверяли в своем расположении к принцессе Анне. Впрочем Головкин не хотел открыто встать в главе недовольных и советовал офицерам явиться к кабинет министру князю Алексею Черкасскому. С этою целью отправился к последнему, утром 23 октября, подполковник Любим Пустошкин (Дело о герцоге курляндском Бироне, М., 1862 г., стр. 66). “Князь Черкасский, пишет Миних сын, выслушав их (по словам Миниха к князю приходило несколько офицеров, но из дела этого не видно) весьма терпеливо, похвалил намерение их и, под предлогом отправления необходимо нужных дел, просил их, дабы они на другой день опят к нему пришли (Записки Миниха сына, Москва 1817 г., стр. 195 — 196), “но сам тотчас же от-правился к Бирону и дал ему письменное показание, что утром (23 октября) приходил к нему служащий в ревизион коллегии подполковник Любим Пустошкин и объявлял, что их собралось не малое число и между ними офицеры семеновского полка (полковником которого был принц брауншвейгский), а из преображенского поручик Ханыков, и все они желают “дабы правительство поручено было принцу брауншвейгскому, а потом, когда он же, Черкасский, его спросил, кто его послал, и на то он отвечивал, что послал его Михайло Головкин.” Пустошкина тотчас же взяли к допросу, и он показал, что после 6 октября, когда стало известно о назначении наследником престола принца Иоанна, он со многими имел разговоры, что о назначении регентом принца брауншвейгского следует подать “от российского шляхетства челобитную”. При этом Пустошкин упомянул, что 21 октября был у служащего в кабинете статского советника, Андрея Яковлева и говорил с [159] другими там гостями о том же предмете, на что Яковлев сказал: “чем-де вам так пустое балякать, подите-де о том бей челомти (sic) чрез графа Остермана или князя Черкасского, а ежели-де его, Яковлева, спросят, то знает-де он, на каком основании то делано!” 22 октября, Пустошкин ходил в дом графини Ягужинской к графу Михаилу Головкину и хотел с ним говорить о регентстве, но не исполнил однако того. 23 октября, после уже

разговора с кн. Черкасским, ходил опять к гр. Головкину, рассказал ему о том и получил в ответ: “что-де вы смыслите, то и делайте, однакож де ты меня не видал и я-де от тебя сего не слыхал. А я-де от всех дел отрешен и еду в чужие краи.” 24 октября спрашивали Яковлева, который сказал, что “об означенном от него, Яковлева, Пустошкину говорено было в таком рассуждении. что означенные господа кабинет министры, ежели к ним та челобитная напредь дойд-дет, могут их своими наставлениями от такова худова начинания отвратить и к тому их недопустить”. До сих пор еще не видно было, чтобы во всех этих замыслах принимал какое бы то ни было участие принц брауншвейгский или его жена; но 24 октября поступил новый донос и уже из дворца их: камергер принцессы Анны, Алексей Пушкин (Алексей Михайлович Пушкин, род. 1710-1785 г. женат был на Марье Михайловне Салтыковой, родственнице императрицы Анны. При Елизавете он был из числа исключенных сенаторов.) явился к ней и просил отлучиться для донесения Бирону на секретаря конторы ее, коллежского асессора Михаила Семенова, говорившего, что “определенный завещательный ее императорского величества указ яко бы не за собственною ее императорского величества рукою был.” Принцесса отвечала: “это довольно, что ты мне о сем [160] доносишь, я-де тотчас прикажу о том донесть его высочеству регенту чрез барона Менгдена.”

Тогда-то Бирон, как сказано потом в обвинительных против него пунктах “приезжал к его высочеству (принцу брауншвейгскому) и с великою злобою выговаривал, яко бы его императорское высочество масакр, т. е. рубку людей или замешание, зачинать хочет, показывая некоторые угрозы, что себя утешать не даст, и другие непристойные вопросы, как тогда его высочеству, так и потом у себя обоим их императорским высочествам чинил, упоминал между тем с другими в разговорах, яко бы его высочество надеется на свой семеновский полк, и для того его высочество, под претекстом будто опасной по улицам езды, а в самом деле имея от ее высочества сам по предписанному опасения, многие дни без выезду из дому, яко под арестом, держал (Дело о Бироне, Москва 1862 г., стр. 46 — 47)”... Миних сын прибавляет, что Бирон призвал принца брауншвейгского к себе “выговаривал ему, в присутствии многих, особ за покушение по извету секретаря (вышепомянутого Михаила Семенова), называл его неблагодарным, кровожаждущим, и что он, если бы имел в своих руках правление, сделал бы несчастным и сына своего, и всю империю. Даже когда принц без намерения положил левую руку на ефес своей шпаги, то герцог, приняв сие за угрозу и ударяя по своей, говорил, что он готов и сим путем, буде принц желает, с ним разделаться (Записки Миниха сына, Москва, 1817 г., стр 198)”... Последнее обстоятельство упоминается в обвинениях против Бирона, “что он почти во всем, кроме того, что хотел с его императорским высочеством поединком развестись, запирался”... С принцем [161] брауншвейгским Бирон покончил тем, что предложил ему чрез Миниха, брата фельдмаршала, сложить с себя все военные звания. Прошение о том принца Антона Ульриха и указ об отставке, подписанный 1 ноября Бироном по русски, помещен в конце книги в приложении IV.

Между тем как все это происходило, допросы и пытки шли своим чередом. В самый день арестования секретаря Семенова, т. е. 24 октября, его прежде всего спросили, от кого он узнал о последней воле императрицы касательно регентства? Семенов показал, что дня за два до опубликования о том ему передал секретарь кабинета Андрей Яковлев, и что “с тех его, Яковлева, слов разумел он, Семенов, что надлежит ему, Семенову, об оном донесть его высочеству герцогу брауншвейгскому, чего ради сего октября 16 дня об оном донес он, Семенов, его высочеству, и его высочество на то сказал, что в том состоит воля ее императорского величества”... 25 октября, Семенов на распросе объявлял еще, что, 21 октября вечером, был у него Яковлев и, увидя печатный манифест с завещанием

императрицы о передаче регентства Бирону, говорил: “знаешь-ли де ты, что подлинный-то оный указ едва собственно-ль ее императорского величества рукою подписан?” Семенов долгом счел донести и об этом герцогу брауншвейгскому, который ему отвечал на то: “ежели-де это правда, то господа министры и сенат сами знают, что они должны своему государю императору”... Яковлев на двух допросах 25 октября сначала повинулся, что он по дружбе точно сообщал Семенову о последней воле императрицы дня за два или за три до ее кончины, а потом признался и в речах, говоренных им Семенову 21 октября: “а говорил того ради, что по кончине ее императорского величества [162] указу в то число, а именно 17 дня октября он, Яковлев, не видал, и как манифест о кончине ее императорского величества, так и присягу государю императору начерно сочинял он, Яковлев, с черного концепта; тако-ж и потом, как уже и подлинно оный указ он, Яковлев, видел, то потому ж был в сумнении, что рукою-ль государыниною тот указ подписан, ибо чернила показались ему перед прежними, коими ее величество соизволила всегда подписывать, черны и перо отменно, однако после того как оный указ он, Яковлев, увидел, то уже за подлинно признал, что подписан собственно ее императорского величества рукою; однакож о том оному Семенову он, Яковлев, не сказывал, для того-что с первоучиненной еще при жизни ее императорского величества о наследстве нынешнего государя императора присяги, он, Яковлев, всегда имел свое усердие больше к стороне родителей его императорского величества, а правительство государственное желал, чтоб было в руках их же, родителей его императорского величества, чего-для как в первом его, Яковлева, распросе о говорении им с Любимом Пустошкиным с товарищи показанных слов и о подаче челобитной его высочеству регенту он, Яковлев, не донес, також и Михаилу Семенову о том, что с соизволения ее императорского величества регентом делается герцог курляндский, как во втором его, Яковлева, распросе показано, — объявил он, Яковлев, для того, чтоб сообщено то было родителем же его императорского величества, ибо он, Яковлев, чрез то уповал в случае, ежели б государственное правительство чрез что ни есть пришло в руки их высочеств, дабы он, Яковлев, мог тогда избегнуть от следствия и беды и получить от их высочеств милость, ибо-де как по кончине ее императорского [163] величества для проведывания, что о нынешнем правлении в народе говорят, надевая худой кафтан, хаживал он собою по ночам по прешпективной (т. е. по невскому проспекту) и по другим улицам, то слышал он, что в народе говорят о том с неудовольствием, а желают, чтоб государственное правительство было в руках у родителей его императорского величества”...

Герман, рассказывая об арестовании Семенова и Яковлева, прибавляет еще одну подробность, о которой нет упоминания в подлинном деле, а именно: будто бы из показания Яковлева о подложности манифеста объяснилось, почему принцесса Анна, тотчас после смерти императрицы, взяла к себе в службу камерфрау Юшкову. Явно, что чрез нее хотели открыть тайну, которая была, по предположению, при подписании манифеста (последнего), и как сильно дорожил этим принц брауншвейгский, чтобы привлечь эту женщину, то видно из того, что он назначил ей награду в 6 т. р. чистыми деньгами и дал ежегодный пенсион в 1000 р. с полным содержанием на всю жизнь за ее долговременную службу при императрице (*Geschichte des russischen Staates* IV, S. 652). По словам Бирона (*Motifs de sa disgrâce* в *Busching's Magazin*, IX, S.S. 391, 392), Юшкова, жена подполковника, была свидетельницею, когда императрица подписала распоряжение о регентстве Бирона и передала ей для хранения в ящике с драгоценностями.

24 октября, но непосредственному распоряжению Бирона, арестовали еще адъютанта принца брауншвейгского. Петра Граматина “токмо по одному моему (говорил Бирон) сумнению, что как я у его императорского высочества был и о офицерах Аргамакове и Ханыкове и о других беспокойствах объявлял, но [164] его императорское высочество мне подлинно о том не открыл, то я хотел чрез того адъютанта все ведать (Дело о Бироне, Москва 1862 г., стр. 26)” ...

Граматин сначала кратко показал, что Семенов просил его допустить переговорить о чем-то с принцем брауншвейгским; что некоторые из офицеров семеновского полка и в особенности адъютант князь Иван Путятин говорили, что они к присяге Бирону, как регенту, не склонны, а желают держать сторону принца брауншвейгского; что последний, 22 числа, приказал своим придворным служителям “ни под каким видом о нынешнем государственном правлении ни с кем не говорить,” а 23 числа, запретил допускать к себе Семенова.

После этих показаний, Граматин, по его словам одумавшись, написал следующую чрезвычайно подробную и именно поэтому самому любопытную повинную:

“Егда всемилостивейшая государыня во вторые, т. е. сего октября-ж дня тяжче заболезновала, то донеслось его светлости герцогу брауншвейгскому, а от кого, того незнаю, что кабинет министры, генералитет и лейб-гвардии полков штаб-офицеры, капитаны и капитаны-поручики призываются в кабинет и чинят подписки, а о чем, того никто из прочих не знает, и в тож поутру принес я к его светлости заручать дела разные по команде в полки, и, заручая оные, его светлость герцог брауншвейг - люнебургский изволил говорить, что “чинится-де подписка в кабинете и подписываются генералитет и гвардии полков штаб-офицеры, капитаны и капитаны-поручики, токмо де о чем неведомо, а меня-де не пригласили. Знатно де они подписывают, что мне ведать не надлежит; а конечно-де знатно что нибудь о наследствии престола [165] российского подписывают. Сказывал-де мне прусский посланник Мардефельд, что будто егда паче чаяния — что не дай Боже — всемилостивейшая наша государыня императрица скончаться изволит, то-де до возрасту Великого князя будет учинен для правления государства российского тайный верховный совет, и в том-де совете будут заседать супруга моя, ее высочество принцесса Анна, его светлость герцог курляндский, три кабинет министра, яко-то Андрей Иванович Остерман, князь Алексей Михайлович Черкасский и Бестужев, да генерал-фельдмаршал Миних, генерал Ушаков и кн. Куракин, а про меня-де ничего не упомянул, токмо-де я его речам не уверяюсь.” И я, низайший, сказал на то, что может, что так; однакож я мню, что лучше бы, ежели бы правление государственное было поручено кому одной персоне, понеже наши министры между собою будут несогласны и чрез то государству не будет пользы. И его светлость герцог брауншвейгский изволил мне приказать об оной подписке, что чинится в кабинете, как можно разведывать. И я оное по приказу его светлости учинить обещался. Токмо мне оного разведать было не от кого, потому что я о том со всеми говорить опасался. А в то ж самое время, как мне его светлость герцог брауншвейг-люнебургский о том говорить изволил, вознамерился его светлость герцог брауншвейг-люнебургский послать своего камер-юнкера Шелиана (По известиям Германа, этот Шелиан был арестован в одно время с Граматиним, но его, по тому уважению, что он был иностранец, не подвергали истязаниям, а послали, чтобы только удалить из России, курьером в Брауншвейг) лейб-гвардии полку преображенского к капитану Зиггейму и об оной подписке у него осведомиться; чего-для послан был на квартиру ко оному капитану Зиггейму его светлости [166] брауншвейг-люнебургского скороход, который, возвратясь, объявил, что означенного капитана во квартире нет. По сему оная посылка и отменена, и он, камер-юнкер Шелиан, послан не был.”

“На завтрешний день, т. е. сего октября 17 дня, пришел я к его светлости герцогу брауншвейг-люнебургскому для закрепления ж в полки по команде писем, то притом его светлость изволил меня спросить, что не разведал ли я о вышедонесенной подписке, которая чинится в кабинете? И я на то донес, что не разведал и незнаю. И мне его светлость изволил сказать, что-де я слышал, что его светлость герцог курляндский будет иметь по кончине ее величества государственное правление один своею особою, и я-де надеюсь, что о том и в кабинете подписка была. И я, закрепя дела, пошел в другой покой его светлости, где увидел ее высочество государыни принцессы Анны придворной конторы секретаря Михайлу Семенова, подле которого я, сев и сказавши здравствуй, спросил у него: “что ты делаешь?” И он мне сказал: “ох, что-де нам, братец, делать: худо-де у нас делается!” И я на то ему сказал: “а что?” “Да мы-де ныне остаемся овцы без пастыря!” И я ему сказал: “а что, разве ты слышал чтонибудь?” И он мне сказал: “да ты де не знаешь?” И я сказал: “я ничего не знаю.” И он, Семенов, мне сказал: “да знаешь-ли ты чему подписка в кабинете чинится?” И я сказал, что я незнаю. “И его-де светлость не знает?” “Нет, не знает, я ему, Семенову, сказал. Да я же ему, Семенову, сказал: “что никто мол такой не найдется совестен, чтобы пришел, да о том сказал его светлости.” И он, Семенов, на то мне сказал, что-де я тот-та, который об оном обо всем знает, чему и подписка была. И я на то ему, Семенову, сказал, что не одному ли отдано правление государственное, егда паче чаяния [167] все милостивейшая государыня скончается? И он, Семенов, мне сказал: “то-то-де так, да при том же сказал, что доложи-де ты его светлости герцогу брауншвейгскому, чтобы я был к его светлости допущен, Я-де обо всем скажу. Да при том же он, секретарь Семенов, сказал, что-де пусть его светлость на меня изволит положить сию комиссию. Я-де сделаю, что оное может быть и переделано; токмо-де я, чтобы был впредь защищен его светлости милостию. И я пошел к его светлости герцогу брауншвейг-люнебургскому, об оном обо всем донес, и его светлость изволил мне на то сказать, что-де я слышал и признать мог по его глазам, что он ко мне быть и со мною говорить хочет. Токмо-де я его опасен, егда-де над ним последует какое несчастье, то-де чрез то объявится, что он у меня был. Знатно-де у него есть ктонибудь приятель у Андрея Ивановича Остермана, чрез кого он сие разведал. И изволил мне приказать ехать к Кейзерлингу посланнику (брауншвейгскому) и о допущении его, секретаря, к его светлости с ним, Кейзерлингом, советывать, и что на то Кейзерлинг объявит, возвратясь, его светлости донести. И я того ж часу поехал к посланнику Кейзерлингу, и об оном ему, Кейзерлингу, что секретарь Семенов говорил и что он с его светлостью герцогом брауншвейгским видеться хочет, объявил; то посланник Кейзерлинг сказал мне, что донеси его светлости, чтоб секретаря Семенова его светлость к себе допустить изволил и, выслушав у него, обнадежил своею милостию, что оное что он, секретарь Семенов, скажет, будет содержано секретно. И я при этом ему, Кейзерлингу, сказал: “что же касается до поручения на него, секретаря Семенова, комиссии, яко бы он в состоянии оное, что он объявил, переделать, то в том на его положиться опасно: егда ему поручится, а он не сделает, и то [168] объявится, то будет после не без стыду.” И на оное мне посланник Кейзерлинг сказал: “это-де правда, об оном-де донеси его светлости, чтоб его светлость о том ему, секретарю Семенову, ничего не приказывал и не упоминал. И я, возвратясь, об оном обо всем его светлости донес, почему его светлость означенного секретаря Семенова к себе допустить изволил, а оный, быв у его светлости, пошел на свою квартиру.”

“Сего-ж октября 19 дня, т. е. в воскресенье, по переходе ее высочества государыни принцессы Анны и его светлости герцога брауншвейг-люнебургского в новой зимний дворец, его светлость изволил мне, призвавши в свои покои, сказывать, что я слышал, яко бы все милостивейшая государыня императрица Анна Иоанновна блаженные и вечнодостоинные памяти объявленного нам завещания своеручно подписать не изволила, и будто на оном завещании не ее величества рука, и ее-де императорское величество блаженные памяти с начала своей болезни ни о каких государственных делах говорить не изволила, а паче о наследствии российского престола, а всегда-де изволила иметь надежду, что от оной своей болезни освободится. И я на оное его светлости донес, что милостивый государь, ежели оное завещание не подлинно подписано рукою ее величества, а про то кто нибудь знает из министров, то на том завещании не утвердятся, а впредь когда нибудь то окажется. Егда же как мы не иначе сведомы, что оное ее величества завещание подписано собственною ее величества рукою, то на оном всеконечно все утверждено будет. Бго же светлость изволил мне сказывать: “я-де надеюсь, что все бывшие у его высочества регента сего числа министры могли признать, с каким я неудовольствием у его высочества регента был. И я-де намерен был сего числа послать к Андрею Ивановичу Остерману требовать у него совету, [169] дабы завтрашнего числа, егда при летнем дворце соберутся на караул в развод люди, коих-де более тысячи человек, чтобы всех министров, кои будут в кабинете арестовать, токмо-де уже одного я не учиню (Линар свидетельствует, что герцог брауншвейгский рассказывал ему, что по кончине императрицы и вступлении в управление государством Бирона, он спрашивал совета Остермана, однако этот отвечал только, что если он, герцог, уже имеет верную партию, то должен открыться и говорить; в противном же случае лучше будет согласоваться с другими (Hermann's Geschichte des russ. Staates, IV, S. 652))”. И я на оное его светлости донес, что оное учинить опасно, понеже если не удастся, то ваша светлость в том останетесь. Да вашей же светлости собою оказаться, что ваша светлость недовольны, не так прилично, разве егда ее высочество государыня принцесса Анна изволит сказать, что недовольна, то и вашей светлости тогда о себе объявить пристойнее, а наперед посоветовать о том с министры. И на оное его светлость изволил мне сказать, что-де супруга моя, ее высочество государыня принцесса хотя я признаваю, что недовольна, однакоже она весьма опасна. И тогда его светлость изволил мне сказать, что-де я надеюсь, что о сем моем недовольстве можно мне объявить Андрею Ивановичу Ушакову. И я на оное его светлости донес, что об оном объявить можно: он-мол либо присоветует, или отсоветует вашей светлости. И тогда его светлость изволил мне приказать, чтобы мне говорить о том с адъютантом его, господина генерала Ушакова, Власьевым и разведать от него, что он скажет. И я того-ж числа увидал адъютанта Власьева во дворце, в большом аудиенц-зале, зачал ему говорить: “что ты скажешь? здорово живешь? что у вас делается?” И он мне, Власьев, сказал: “а что де у нас делается? Ведь-де ты и сам знаешь, что-де у нас регент сделан. Что-де ее высочество [170] государыня принцесса Анна и его светлость изволят на то говорить?” И я ему, Власьеву, сказал: “сколько мне сведомо, что ее высочество принцесса Анна и его светлость брауншвейг-люнебургский не очень довольны: токмо его светлость заподлинно несведом, кому бы оное неудовольствие открыть из министров.” И он, Власьев, на то мне сказал: “да на что-де лучше нашего старика?” И я спросил: “кто мол?” И он, Власьев, сказал: “да генерал-де мой. Пусть-де ее высочество его призвать изволит и о том объявить. Он-де даст совет, как поступить.” Да еще-ж он, Власьев, меня спрашивал, что читал-ли-де ты манифест? И я на оное сказал, что я читал.,,Видишь-ли-де ты, как он сильно там утвержден, что-де ему сукцессора выбрать велено?” И я ему сказал, что он, кого захочет, того выбрать соизволит. И потом пошел я к его светлости герцогу брауншвейгскому и донес о том, что мне адъютант Власьев про генерала своего сказал. И его

светлость изволил мне приказать, чтобы ему, адъютанту Власьеву, сказать, чтоб он доложил своему генералу Ушакову, что его светлость с его превосходительством видеться желает, токмо при том его светлость приказал внушить его превосходительству, дабы его превосходительство пришел к его светлости, якобы ненарочным случаем, а за каким нибудь делом; а когда же быть намерен, чтоб о том его светлости донести. И я, увидевшись на завтра, т. е. в понедельник сего октября 20 дня, с ним, адъютантом Власьевым, о том ему, как мне его светлость изволил приказывать, сказал. И он пошел от меня прочь, сказав: “добро-де я скажу”. А потом часа через два, во дворце-ж увиделся я с ним адъютантом Власьевым, и он мне сказал, что-де я генералу своему доносил, чтоб он пришел к его светлости, а притом же-де я, сколько [171] можно внушил, что для некоторой нужды, а прочего-де мне было сказывать нельзя, и он-де изволил мне сказать, что добро я-де буду к его светлости, да я-де и всегда хожу мимо покоев его светлости. И я, услыша ответ адъютанта Власьева, пошел к его светлости и об вышедонесенном, что г. генерал Ушаков сказал, донес.”

“Да сего ж октября 19 дня, т. е. в воскресенье, как я в прежнем моем распросе сказал, что посланник Кейзерлинг был у его светлости брауншвейг-люнебургского и, советовавши, пошел его светлость к ее высочеству государыни принцессы Анны покои, а подполковник Гейнбург (Гейнбург — брауншвейгский подполковник; 6 января 1741 г. он был назначен генерал-адъютантом к принцу брауншвейгскому с чином полковника; во все время правления принцессы Анны был осаждаем разными льстивыми письмами от военных в особенности из немцев. По восшествии же на престол Елизаветы заточен вместе с семейством принца брауншвейгского), вышедши, позвал камер-юнкера Шелиана к нему, Кейзерлингу, для разговора; також он же, подполковник, и меня звал, чтоб я к нему шел, токмо я не пошел, и камер-юнкер Шелиан, быв с полчаса с посланником Кейзерлингом в покое, вышел назад и говорил плачючи: “что-де нам делать, что посланника Кейзерлинга мы не можем уговорить, чтоб он присоветовал его светлости, чтобы спорить, а все-де говорит: молчите, молчите! А его-де светлости об оном никакой предопасности, чтобы молчать, нет; а что-де посланник Кейзерлинг говорит, что егда его светлость об оном станет спорить, то-де они могут арестовать. Кто-де может арестовать его светлость?” И я на оное ему, Шелиану, сказал, что как его светлости начать спорить, егда ее высочество государыня принцесса о том ничего говорить не изволит? И он, Шелиан, [172] на то мне сказал: “мы-де по то время будем молчать, пока они с нами что хотят, то сделают. И тем оный разговор кончился”.

“Сего ж октября 21 дня. то есть во вторник, вышеозначенный секретарь Семенов, увидя, говорит мне: “что-де ты знаешь, а что ведь-де та сторона (именуя тем его высочество регента) в робости?” И я ему сказал: “в какой робости?” “Ведь-де обещали дать его высочеству государыне принцессе Анне и его светлости герцогу брауншвейгскому на содержание стага двести тысяч.” И я ему сказал: “может быть, я-де и его светлости о том доносил же”....

“Сего ж октября 22 дня, т. е. в среду, по утру, пришел я к посланнику Кейзерлингу по обычаю моему отдать поклон. И он, позвавши меня к себе в покой, стал со мною разговаривать: “как-де ты думаешь, что утвердится ль нынешнее определение в правлении государства?” И я ему на оное донес, что я не иначе мню, как оное утвердится. И он, Кейзерлинг, сказал: “может-де быть, что министры между собою впредь не будут согласны, и чрез то-де последует какая нибудь отмена. При вступлении-де блаженные памяти ее величества государыни императрицы Анны на российский престол, сперва-де было сделано так, а потом инак

отменилось в самодержавстве.” И в самое в то время, как мы разговариваем, приехал к нему, посланнику Кейзерлингу, подполковник Гейнбург, который объявил, что он был у его высочества регента с поклоном от его светлости герцога брауншвейг-люнебургского, и его-де высочество регент милостиво меня принять изволил и изволил-де обещать прислать двух кабинет министров к его светлости со объявлением его светлости титула его высочества, то посланник Кейзерлинг сказал ему подполковнику, что изволь-де ты итти к [173] его светлости; а потом и мне сказал, что поди-де и ты туда ж во дворец и посмотри, что делаться будет, именуя чрез то приезд кабинет министров: “пусть-де они нас ныне повышают, я бы-де желал, чтобы они его светлость сделали генералиссимом — а там-де мы их достанем!”

“Я от него, Кейзерлинга, и пошел, и пришел во дворец, был безотлучно в покоях его светлости, а как министры кабинетные приезжали и титул объявили его светлости, я при том не был, ибо оное учинено в покоях его императорского величества, куда не всех ходить пускают. И тогда же пришел я в покои ее высочества государыни принцессы Анны, где увидел секретаря Семенова, и он мне сказал: “что де, братец, ведь де-наши господа (разумеая чрез то его высочество герцога брауншвейгского и ее высочество государыню принцессу Анну) деньги-та-де приняли, да и замолчали!” И я на это ему сказал, что как соизволят, нам что дела? Еще-мол попадешь напрасно в беду! И он, Семенов, мне сказал: “ин-де перестать говорить.” И я ему сказал, что перестать, да у нас уже и запрещено. Да того ж числа он же мне, Семенов, сказал, что-де был его высочество регент у ее высочества государыни цесаревны Елисавет Петровны и обещал-де дать на содержание ее высочества пятьдесят тысяч, токмо-де ее высочество оных денег не приняла, а изволила-де сказать, что я, по милости ее величества блаженные памяти, довольна, а молодова-де государя грабить нехочю.”

Сего ж октября 24 дня, т. е. в четверток, при закреплении дел письменных по команде, изволил мне его высочество герцог брауншвейгский объявить, что-де представляют мне, яко бы я в опасности живота, моего здесь жить принужден, однакожде мне то да_ ром, хотя я и умру. И я на оное его светлости [174] сказал: “милостивый государь, я не надеюсь, чтобы кто такое безбожество над вашим высочеством сделал.” Да притом же его светлость изволил сказать: “знатно-де на то, что таковое определение в правлении государства учинено, есть воля божия, и я-де уже себя успокоил. Мы-де лучше хотим с супругою моею терпеть, нежели чрез нас государство беспокоить.” И я на оное его высочеству донес, что оное очень изрядно, и с тем от его высочества, закрепивши дела, пошел из покою вон.”

“Да сего ж октября 19 дня, кирасирского брауншвейгского полку ротмистр Мурзин сказывал мне, что я-де мню, что его высочество регент за тем у нас в России остался, что-де ему в Курляндию ехать нельзя, понеже-де там много недовольного шляхетства, и ему-де не без опасности, ибо-де уже более трех сот фамилиев из Курляндии вышло вон, у которых деревни повыкуплены.”

“Что же я, низайший, кончает Граматин предписанных в сей моей повинной многих пунктов не объявил в прежнем распросе, и то учинил в торопях и неодумавшись, а ныне растолковав подписку свою, которую я учинил в прежнем распросе под смертною казнию, раскаясь во всем, принес сию повинную, а более уже сего ничего незнаю и в том подписуюсь”.

Из офицеров семеновского полка, адъютант князь Иван Путятин был признан виновнейшим: он рассуждал с офицерами своего полка, что государством следовало бы править принцу брауншвейгскому, ходил к нему во дворец, поручал там камер-юнкеру Шелиану передать принцу, что “ежели-де его высочеству угодно, то некоторые из сенаторов его сторону держать будут.” Кроме того, приезжал к капитану того же полка Василью Чичерину с [175] вестью “Михайло Аргамаков взят!” Чичерин отвечал на то: “И нам-де не миновать! Надобно, чтоб об этом нашем деле его высочество герцог брауншвейгский и ее высочество государыня принцесса были сведомы для того, ежели-де нас возмут, чтоб тогда показали их высочества к нам милость.” Путятин: “вот-де кабы полк был в строю, то-б-де написали челобитную и подали, чтоб ее высочество государыня принцесса приняла государственное правление.”

31 октября, следовательно за неделю до падения Бирона, приводили в застенки и поднимали на дыбу Андрея Яковлева, Любима Пустошкина, Михаила Семенова, Петра Граматина. Первому дали 17 ударов, второму — 16, третьему и четвертому — по 15. Андрей Ушаков и князь Никита Трубецкой при том присутствовали и подписали пыточные распросы. В них, против прежних показаний, нового ничего неоткрыто.

По низложении Бирона, все эти лица, а равно и менее значительные соучастники их, попавшиеся в розыски, получили награждения; их повысили чинами, им давали деньги и более значительные должности; бывших в руках палача прикрывали знаменами. По этому поводу были изданы в народ манифесты, которые, по редкости их ныне, помещены в V приложении. Но не долго пользовались эти лица плодами своей приверженности к семейству принца брауншвейгского: по вступлении на престол Елизаветы, в ноябре 1741 г., о главнейших из них тотчас же вспомнили, и они снова попали к допросу, их снова осудили. В манифесте императрицы Елизаветы, 22 января 1742 г. (Полное собрание зак. т. XI, № 8506), Яковлев напр. обвинялся за то, что “поступал зело непорядочно и чтился по многим входящим в кабинет делам и исходящие по оным [176] указы зело темно и конфузно составлять и при восстановлении на правительство бывшего регента у гр. Остермана духовную компоновал и во многие, усердствуя только принцессе, ко вреду общего покоя (почему в прошлом году и розыскиван был) касающиеся дела вступался, за что себе от нее, принцессы Анны, чин и не малое награждение деревнями получил.” За это Яковлева приговорили лишить чинов и деревень и послать в полковые писаря в астраханский гарнизон. Адъютант Граматил, по низложении Бирона, сделался директором канцелярии принца брауншвейгского — его лишили по манифесту всех чинов и исключили вовсе из службы (“понеже до сего был в катских руках”), под тем предлогом, что он “в противность указов, по перемене разных чинов в повышении чина брал не малые взятки, в чем при следствии сам признался”.

Кроме того, 16 января 1742 же года, ассесор Михаил Семенов и гвардейские капитаны Михаил Аргамаков и князь Иван Путятин, указом, подписанным Елизаветою, отставлены от службы с тем, чтобы их не определять ни к каким делам.

В следующем 1743 году, когда возникло дело о семействе Лопухиных, известных приверженцах бывшей правительницы Анны и толковавших неблагосклонно о новой императрице, снова в тайной канцелярии попадаются знакомые уже с нею лица, а именно Нил Акинфов, Михайла Аргамаков, кн. Иван Путятин. Первого из подпоручиков преображенского полка записали тем же чином в армейские полки; Аргамакова освободили

“понеже вины его не объявилось”, но князя Путятина наказали кнутом и сослали в ссылку в Кецк. Акинфов был обвинен в том, что он слышал от Ивана Лопухина “непристойные слова, касающиеся во вред высочайшей ее [177] императорского величества персоны и хосударства, по должности своей и присяге не доносил”.... Путятин обвинялся в тол же, да и сам с Лопухиными “согласником был и, усердствуя к принцессе и сыну ее, от Натальи Лопухиной всегда об них наведывался”...

До сих пор говорено было только о приверженцах брауншвейгской фамилии, но в непродолжительное регентство Бирона встречались и сторонники дочери Петра Великого — Елизаветы. Вот примеры тому:

7 октября 1740 г., в самый день, когда полки присягали вновь назначенному наследнику престола Иоанну Антоновичу, капрал конного полка Александр Хлопов встретился близ своих казарм с капралом того же полка Гольмштремом, который не был в строю по болезни и спрашивал его: “зачем-де наш полк в строю был?” “Присягали мы-де ныне, отвечал Хлопов, ее императорского величества внуку, а государыни принцессы сыну.” А потом, “погода немного, махнув он, Хлопов, головою своею на двор государыни цесаревны, который близ смольного двора”, прибавил: “не обидно-ль?” Гольштрем: “какая-де обида? Кому ее императорское величество указать соизволит присягать, тому-де мы и присягаем”... В тот же день, Хлопов на квартире у себя с товарищами своими Семеном Щетининым, Иваном Долгинским и Васильем Майковым, спрашивал второго из них: “знаешь-ли ты, кому мы ныне присягали?” “Бог знает, я незнаю” отвечал тот! “Экой дурак, уж того не знает! А ты, Майков, знаешь-ли, кому мы ныне присягали?” Майков: “Как не знать, ведь слышать, как люди говорят, что присягали благоверному великому князю Иоанну.” Хлопов: “вот император Петр Первый в российской империи заслужил и того [178] осталось! Вот коронованного отца дочь, государыня цесаревна оставлена!” На допросе, Хлопов каился: “об оном-де говорить в мысль его пришло с такого случая: как-де он, Хлопов, со оным Гольштремом встретился и об означенном начал ему говорить и притом, увидев государыни цесаревны двор, подумал о государыне и сожалел, что мимо ее высочества наследство российского престола учинено, а то-де сожаление и об оном к рассуждению в мысль его, Хлопова, пришло, что ее высочество его, Хлопова, знает и милостивно его принимала, потому что дядя его, Хлопова, Алексей Жеребцов при доме ее высочества камер-юнкером”...

Слова Хлопова и недонесение о них русскими его товарищами (выдал Хлопова немец Гольштрем) были оставлены без наказания “для многолетнего его императорского величества здравия, но только впредь в такие противные рассуждения отнюдь бы они не вступали”

В Шлюссельбурге, в канцелярии большего ладожского канала получены были, 20 октября 1740 года, манифесты о наследовании Иоанном III и регентстве Бирона. В то время писарь Курмов был на веселе, и подканцелярист Евсеев говорил ему, “чтоб он для исполнения присяги был во всякой исправности и не употреблял бы себя еще к наибольшему пьянству.” Курилов на это отвечал: “яде не хочу, а верую Елизавете Петровне.” Евсеев долгом счел донести об этом по принадлежности; обвиненного, доносителя и свидетелей привезли в Петербург к допросу; первый повинился, последние подтвердили, и тогда состоялся приговор: “для поминовения блаженные и вечнодостойные памяти великой государыни императрицы Анны Иоанновны и для многолетнего его императорского величества здравия и благополучного [179] государствования, жесточайшего наказания ему, Курилову, не чинять,

но токмо дабы она его продержзость вовсе ему упущена не была и чтоб он впредь от таковых продержзостей имел воздержание, учинить ему наказание, вместо кнута, бить плетьюми нещадно.” Подканцеляриста Евсеева, за правый донос, написали в канцеляристы.

23 октября 1740 г., счетчик из матросов Максим Толстой, будучи в церкви Исакии далматского, когда приводили к присяге по манифестам, отказался присягать, почему и взят был к допросу. Толстой показал, что он это сделал “для того, что государством-де повелено править такому генералу, каковы у него, Толстова, родственники генералы были... До возраста-де государева (Иоанна III), а именно до семнадцати лет повелено править государством герцогу курляндскому, а орел-де летал, да соблюдал все детем своим, а дочь его оставлена”... Далее Толстой пояснял: “говорил-де он то о государе императоре Петре Первом, что-де он, государь, во время государствования своего соблюдал и созидал все детем своим, а у него-де, государя, осталась дочь государыня цесаревна Елизавет Петровна, и надобно ныне присягать ей государыне цесаревне... О томде между собою говорили лейб-гвардии преображенского полку солдаты, идучи от учиненной ныне присяги московскою ямскою слободою”... Толстого приводили в застенки и поднимали на дыбу, чтобы узнать, кто именно из солдат это говорил, но он никого не назвал, и его сослали в Оренбург. По возшествии на престол Елизаветы, 5 декабря 1741 г., он был из ссылки возвращен.

Бирон за день до его арестования, рассказывая секретарю саксонского посольства Петцольду о неприличных, по его мнению, поступках герцога брауншвейгского в доказательство тому приводил между [180] прочим то, что тот в свой заговор вовлек даже лакея шута Педрилло и одного русского танцовального ученика (Hermann's Geschichte des russ. Staates, IV S 658). Нарочно ли так говорил Бирон с целью более унижить принца Антона Ульриха, или же действительно не знал хорошенько дела о танцовальном ученике, только этот с другими лицами и, между ними, лакеем Педрилло был арестован вот по какому случаю: 23 октября 1740 года, сержант Барановский взял в дом майора Альбрехта из фельдшерской школы “для поправления у майора волосов” фельдшерского ученика Кузьму Маленького. По словам Миниха (Ebauche pour donner une idee sur la forme du gouvernement russe, p. 130) и признанию самого Бирона, этот Альбрехт исполнял у последнего должность шпиона в народе, почему сержант Барановский, бывший в этих делах деятельным пособником, не замедлил наедине распрашивать фельдшерского ученика: “не слыхали он от кого о присягах?” Маленькой стал ему рассказывать, что 19 октября был он с названным своим братом, танцовальным учеником Павлом Лукиным Карноуховым в старом зимнем дворце в гостях у лакея французского танцмейстера Ланди, Кирилы Степанова, у которого в то время прилучился и лакей Педрилло, Кузьма Петров. В разговорах между собою Карноухов рассказывал, что в доме у государыни цесаревны состоялся указ, чтобы никто дому ее высочества всякого звания люди к состоявшимся обеим присягам не ходили и что от ее высочества посланы в Цесарию два курьера, а кто именно и для чего не знает. Из дальнейших распросов оказалось, что такие вести вышли от одного из придворных служителей цесаревны. Карноухова и [181] Маленького — за разглашение таких слухов, Степанова за недонесение о них били батогами, также как и нескольких других, притянутых к делу. Впрочем, по докладу о том Бирону, “его высочество регент российской империи, рассуждая, что по тому делу дальней важности не показалось, а явились токмо непристойные враки, того ради именем его императорского величества указал по вышеобъявленному делу более не следовать”...